Карл Кантор

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ

Карл Моисеевич Кантор
Тринадцатый апостол

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2672285
Тринадцатый апостол: Прогресс-Традиция; Москва; 2008
ISBN 5-89826-225-3

Аннотация

Карл Кантор – известный философ, социолог, культуролог, эстетик, зарекомендовавший себя с давних лет как знаток жизни и творчества Владимира Маяковского. Продолжая исследование трагической судьбы поэтического гения, автор предлагает новаторский, фактологически оснащенный, не только эстетический, но и теологический и историософский анализ личности и жертвенного служения истине величайшего лирика и эпика, панегириста и сатирика XX столетия.

Автор книги впервые раскрывает неметафоричность самосознания и самочувствия Маяковского как тринадцатого апостола, его органическое освоение и претворение в собственном творчестве поучений ветхозаветных пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и заповедей Иисуса Христа. Русский поэт предстает в книге как наследник христианских светочей Ренессанса – Данте, Рабле, Микеланджело, Шекспира, Сервантеса. И одновременно – как продолжатель русского фольклора и традиций русской художественной литературы. Автор выясняет духовную близость творческих исканий и обретений трех гигантов русской поэзии – Пушкина, Лермонтова и Маяковского. Владимир Владимирович показан в книге в его творческом самоизменении – от футуризма до толстовской кульминации критического реализма, противостоящего идеологизированному «социалистическому реализму». Колумб новых поэтических Америк, оклеветанный как антикоммунист официозной критикой, был и остался в поэзии единственным хранителем идеалов Христа и Маркса. Читатель узнает из книги, чем на самом деле была Лениниана Маяковского и каков был его неравноправный диалог с партией и государством. Певец Октября очень скоро стал провозвестником третьей, послеоктябрьской революции – революции духа.

Содержание

От автора 4
Предуведомление 7
Почему Маяковский 10
Вступление первое 10
Вступление второе 18
Раздел первый 21
Часть первая 21
Параграф первый 22
Параграф второй 24
Параграф третий 26
Параграф четвертый 35
Параграф пятый 38
Параграф шестой 39
Параграф седьмой 45
Параграф восьмой 46
Часть вторая 53
Параграф первый 53
Параграф второй 58
Параграф третий 61
Параграф четвертый 62
Параграф пятый 65
Часть третья 68
Параграф первый 68
Параграф второй 69
Параграф третий 71
Параграф четвертый 72
Параграф пятый 72
Параграф шестой 74
Параграф седьмой 75
Конец ознакомительного фрагмента. 77

Карл Моисеевич Кантор
Тринадцатый апостол

Посвящаю памяти моей сестры
ЛИЛИ ГЕРРЕРО (Елизаветы Бондаревой)

От автора

Я прожил жизнь под звездой Маяковского. Моя сестра – Лиля Герреро – передала мне, восьмилетнему мальчику, эстафету любви к этому гиганту. Сколько раз из десятилетия в десятилетие я пытался написать о нем, о моей любви к нему.

Не писал, говорил себе: погоди, ты еще не готов, напишешь не так и не то. Дальше откладывать некуда. Мне 84. Семьдесят шесть лет я жил с ним неразлучно. Мои ближайшие друзья – Николай Евдокимов, Григорий Чухрай, Александр Зиновьев и мои сыновья Владимир и Максим и жена Таня разделяли мою любовь к Маяковскому. Тане я обязан больше, чем кому бы то ни было. Татьяна Сергеевна была ботаником, генетиком, селекционером. Именно от нее я впервые узнал, что такое ген, генотип, генетическая наследственность. Чтобы понимать, что она делает, я читал книги по генетике. Я наблюдал за ее работой на кафедре генетики в МГУ, в комнате, в которой жужжали, шумели тысячи маленьких мушек – дрозофил. В это время я учился в другом крыле того же здания на Моховой, на философском факультете, потом, как лодочник, помогал ей в опылении речных цветов на Оке в Институте генетики и селекции АН СССР, затем вторгался в Главный ботанический сад АН СССР, где работала Таня, и, наконец, я наблюдал исследования в том подмосковном Институте земледелия и садоводства, где Таня вывела с помощью химомутогенеза два новых ягодных вида – земклунику и сморжовник. Я обязан Тане мыслью об историософии проектирования, идеи которой прозвучали и в этой книге о Маяковском.

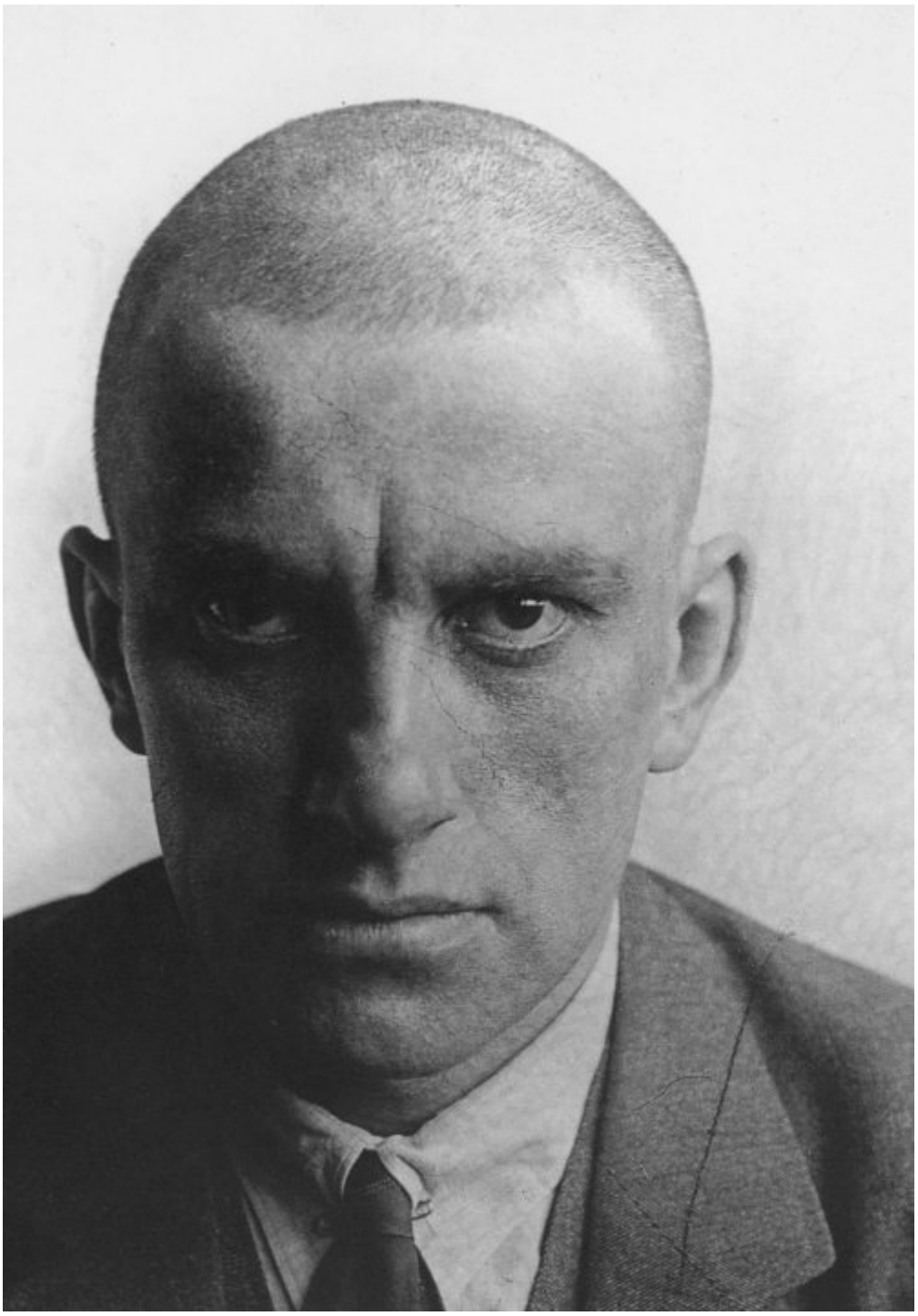
В московской 213-й школе я, Гэигорий Чухрай и Евгений Гужов, встречаясь, приветствовали друг друга кличем ДЖВМ – Да живет Владимир Маяковский! В армии я читал Маяковского на земле и в полетах. Я объяснялся в любви стихами Маяковского. Со сцены клуба Московского университета я продолжал читать Маяковского. Шел 1949 год. Меня собирались исключить из партии и МГУ как «эстетствующего космополита». Дальше мог последовать арест, потом лагерь, если не хуже. Не исключили. Секретарь парткома университета Прокофьев (позже стал Министром просвещения СССР) заявил: «Человек, который так читает Маяковского, не может быть космополитом».

Кто теперь не знает слово «дизайн». В русский обиход не только слово, но и теорию, и историю дизайна, и первые организации дизайна (технической эстетики, художественного проектирования) ввел я, опираясь на теорию и практику «производственного искусства» Владимира Маяковского. Ему же я обязан идеей историософии проектизма и пониманием внутреннего созвучия учений Христа и Маркса.

Я признателен своему старшему сыну, курировавшему «появление книги на свет», – сыну, которому задолго до рождения я и Татьяна Сергеевна решили дать имя Владимир – в честь Маяковского.

Душевную благодарность я выражаю Елене Николаевне Самойловой. Ее вклад в книгу безмерен.

Предуведомление



В книге «Тринадцатый апостол» я использую категориальный аппарат своей монографии «Двойная спираль истории»[1]. По этой причине согласие или несогласие с трактовкой творчества и судьбы В.В. Маяковского предполагает знание идей монографии. Но так как это требование чрезмерно, я вынужден ограничиться всего лишь несколькими разъяснениями. Я различаю историю, начало которой положила Библия. История – процесс филиации

[1] *Кантор К.М.* Двойная спираль истории: Историософия проектизма. Т. 1. М., 2002.

человеческих идей. А то, что обычно принято называть историей, я называю социокультурной эволюцией, которая началась задолго до истории (скорее всего, с момента зарождения рода homo sapiens) и завершится много позже того времени, когда история достигнет своей цели. Социокультурная эволюция проходит ряд параллельных и лишь частично совпадающих этапов: дикость, варварство, цивилизацию; и – первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный и капиталистический. История и социокультурная эволюция – процессы взаимосвязанные, пронизывающие друг друга, оплетающие человеческое существование двойной спиралью материально-телесных, душевно-нравственных и духовных движений. При этом история и социокультурная эволюция изменяются не синхронно. История может обогнать социокультурную эволюцию (как это произошло в России после Октября 1917 г.), но может и отстать (как в передовых странах Западной Европы и США). Однако именно взаимосвязь истории и социокультурной эволюции придает тотальность человеческому существованию. История, как и социокультурная эволюция, каждая в свой срок, возвращается к пройденным этапам движения. В этом сложном четырехстороннем взаимодействии двух спиралей совершается движение континентов, стран, народов, рас, этносов, наций и индивидов. Возникает почти непреодолимое представление о том, что единой человеческой истории просто не существует, тогда как двуспиральность, как почти неуследимая закономерность человеческого бытия, дает основание утверждать, что существует единая мировая история и единая социокультурная эволюция и что их устройство подобно федеративному устройству крупных демократических государств или их союзов (ЕС), где мерилом историчности и социокультурной укорененности человека является своеобразие отдельного индивида. Со времени возникновения истории вовлеченный в нее индивид совмещает в себе два полюса человеческого бытия, так что его душа и дух могут располагаться в плазме истории, а его социокультурная ипостась пребывать в муравейнике социокультурной эволюции. Говоря языком Менделя и Моргана, история – фактор изменчивости, социокультурная эволюция – фактор наследственности. В силу этого даже двигатель истории не может освободиться полностью от засасывающего его планктона социокультуры.

Исходный пункт истории – Иисус Христос. Он есть парадигма всех возможных акциденций (они же ступени разворачивающейся парадигмы). Я различаю три: религиозную, эстетическую, сциентическую. Каждая из них несет в себе всю полноту парадигмы всемирной истории. В первой, религиозной, акциденции уже содержится и эстетическая, и сциентическая.

Учение Бога Отца и Иисуса Христа выражает себя в учениях своих пророков, в писаниях и деятельности своих апостолов. Тот, кто не принял учение Христа и апостолов, тем самым отверг историю. А кто остановился на религиозной акциденции, затормозил поступательное движение истории и тоже фактически выпал из истории. Эстетическая имеет своих пророков и апостолов – Данте, Микеланджело, Рабле, Шекспира, Гёте, Бальзака, Достоевского, Толстого. А сциентистско-гуманитарный этап парадигмы истории представлен двумя апостолами: Марксом и Энгельсом. В естествознании – Дарвином, Эйнштейном, Бором, Гайзенбергом, Винером, Фрейдом. Внутреннее чувство истории Маркса и Энгельса проявилось в том, что они осознали свою связь с Иисусом Христом, с заповедями Его Нагорной проповеди и с десятисловием Моисея.

Наследник Маркса и Энгельса, Ленин оказался глух к основной религиозной акциденции парадигмы истории. В России только поэт Владимир Маяковский приял всю историю целиком – показал внутреннюю связь учений Христа и Маркса. Но уровень социального, промышленного и общекультурного развития России столь резко отставал от достигнутого в Западной Европе, что социокультурная эволюция России поглотила историю, которая именно здесь вырвалась на простор.

Маяковский назвал себя тринадцатым апостолом Христа и был таковым. Миссия тринадцатого апостола состояла в том, чтобы провести линию преемственности от Христа к Марксу через Ренессанс. Он это сделал. И на этом поставил точку в своем апостольстве.

Почему Маяковский

Вступление первое

У Иисуса Христа было двенадцать апостолов. Некоторых Спаситель Сам отобрал, а некоторые к нему пристали по доброй воле. Один из них – Иуда Искариот – предал Учителя за тридцать сребреников, после чего повесился. Следовало подобрать ему замену. Из двух кандидатов был избран ничем не примечательный Матфий. Д. Штраус писал: «Тот факт, что Иисус круг ближайших учеников своих ограничил цифрой двенадцать, без сомнения, показывает, что, создавая план преобразований, Он прежде всего думал об израильском народе, но отсюда нельзя заключать о том, что им одним Он думал ограничиться впоследствии»[2]. Многие из двенадцати апостолов ничем особенным себя не проявили и пребывали в неизвестности. Среди двенадцати первое место занимал Симон, коему Иисус дал прозвище «Кифа – Петр», т. е. «Камень». Как замечает Штраус, именоваться человеком-камнем не приличествует человеку, который подобно Симону обладал пылким, но не твердым характером. Тем не менее на Петре, как на камне, Иисус основал свою Церковь.

Иисус проповедовал устно и никаких письменных свидетельств о себе не оставил. Да и все двенадцать были неграмотными. Книги Евангелий написали, со слов апостолов, их ученики. Известно, например, что спутник апостола Павла Лука написал в Коринфе Евангелие. Луке же принадлежит книга «Деяния апостолов». Как полагает тот же Штраус, Иисуса не понимали даже ближайшие Его ученики, включая Его любимца Иоанна, чей Апокалипсис противоречит взглядам Христа. Штраус утверждает: «То значение, которое впоследствии обрел Павел, показывает, что среди ближайших учеников Иисуса не было ни настоящего представителя его учения, ни человека, которому было бы по силам развивать идеи Учителя далее, в соответствии с изменившимися условиями времени»[3]. Единственным грамотным, знающим Священное Писание и самостоятельно мыслящим был ремесленник, фарисей, гражданин Рима – апостол Павел. Он лучше двенадцати понимал учение Иисуса, больше других сделал для распространения Его учения, но и более двенадцати отступал от многих заповедей Учителя. И это породило самобытное течение в христианстве – «павликианство». Сам Иисус полагал, что со временем, пусть весьма отдаленным, появятся новые Его апостолы, которые приведут Его учение в согласие с новыми обстоятельствами времени и места. Таким новым апостолом, через двадцать столетий после распятия Христа в Римской империи, в конце XIX в. в России, которая сознавала себя Третьим Римом, стал поэт Владимир Маяковский. Возникла потребность согласовать веровательные прогностические характеристики революционного и коммунистического учения Христа с революционным и коммунистическим учением Маркса.

Многие поэты, писатели, художники, философы, ученые как в России, так и в Европе и в Новом Свете хотели выступить в роли новых апостолов и даже пытались отождествить себя с Распятым. Но никто не сделал того, что сделал русский поэт. Никто не «опускался» до черновой апостольской практики. Исключением является милосерднейшая албанская монахиня мать Тереза, посвятившая свою жизнь помощи чандалам Индии и при этом публично заявлявшая о почти полном тождестве Нагорной проповеди и «Манифеста коммунистической партии». Был еще аргентинский католический священник Элиас Кастельнуово, напи-

[2] *ШтраусД.Ф.* Жизнь Иисуса. М., 1992. С. 226.

[3] Там же. С. 230.

савший книгу «Jesucristo – montonero de judea» («Иисус Христос – иудейский повстанец» – Buenos Aires, 1971). Сей священник утверждал, что *война* бедняков против богатых (он так и пишет *«война»,* а не *«борьба»* – «la guerra», а не «la lucha»), какая велась во времена Иисуса, «эквивалентна» борьбе классов (пролетариата и буржуазии) в доктрине Маркса. Но, конечно, ни мать Тереза, ни священник из Буэнос-Айреса не были апостолами. Из существовавших в Иудее религиозных партий большинство людей знают тех, кого сам Иисус называл своими противниками, – саддукеев, фарисеев, книжников, – им он грозил геенной огненной. Знают еще о зелотах, которых возглавлял «бандит» Варавва (Barrabas по-испански), тот самый, коего чернь иудейская предпочла Христу.

Маяковский жаловался иконописной Богоматери:

Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву? (1: 190)[4]

Однако библеисты XX в. «реабилитировали» фарисеев и посчитали, что сам Христос принадлежал к одной из пяти-семи школ фарисеизма. Какие-то из них он осуждал, а какие-то принимал. По-своему трактовали фарисеи отношение Единого Бога к каждому отдельному человеку: «Отец Бог заботится о *тебе.* Он беспокоится о *тебе.* Он защищает *тебя.* Он любит *тебя…»*[5] Так думал и Иисус. Но Искупителю чуждо было фарисейское ласкательство богатых и увещевание рабов, бедняков служить своим господам безропотно. Так можно ли все-таки сказать, к какой религиозной партии принадлежал Иисус? Сын Божий, строго говоря, не нуждался в партиях. Но, оказывается, Он не был одиночкой. Иисус, скорее всего, принадлежал не к фарисеям, несмотря на близость Его взглядов взглядам некоторых их школ, не состоявших на жалованье у церкви, не запятнавших себя политикой. Он принадлежал к громадному коммунистическому братству эссеев. С детства он воспитывался в нем. Унаследовав профессию своего земного отца, он плотничал. Вступив в братство эссеев, он продолжал работать плотником. Он был рабочим до 30 лет, когда он оставил плотничье дело и целиком посвятил себя исполнению заветов Отца Небесного. Пребывание среди эссеев не прошло для Него даром. В этом братстве не было ни рабов, ни господ, все работали – каждый делал то, что умел и что нужно было для других. Все эссеи были равны перед Богом и перед людьми. Они не признавали никакого государства – ни римского Цезаря, ни иудейского Царя. Они были (употребляя современную терминологию) анархистами, или, точнее, анархистами-коммунистами. «Чувство свободы у Христа, – пишет Кастельнуово, – было абсолютным». Эссеи не признавали частной собственности даже на одежду. Все эссеи были неграмотными, не умели ни писать, ни читать, но они не были невеждами, ибо всю жизнь впитывали в себя обширнейшие знания и глубочайшую мудрость Библии благодаря единицам в их среде, овладевшим искусством чтения настолько, что все собратья могли постигать мудрость Священного Писания. Кроме апостола Павла, все другие – все двенадцать – были неграмотны, но и они были не менее мудры, чем, скажем, софисты времен Платона. Мудрость древнегреческих софистов была мудростью рациональной, а мудрость апостолов, как до них ветхозаветных пророков, была мудростью веры, мудростью иррациональной, превышающей мудрость науки. Владимира Маяковского, уступавшего, скажем, Борису Пастернаку в обширности знаний мировой культуры (но не невежественного, как утверждают иные), можно было бы назвать самозванцем, *если* бы не унаследованная им мудрость веры, той самой, о которой Соломон говорит в своих притчах, что Господь имел Мудрость

[4] Здесь и далее цит. по изд.: *Маяковский В.В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955–1961.

[5] *Павликовский Дж.* Иисус и теология Израиля. М., 1999. С. 78.

началом пути своего, прежде созданий своих, искони. Сама Премудрость молвит: «…от века я помазана, от начала, прежде бытия земли… тогда я была при Нем художницею.»[6] Кроме первого «если», есть и второе – *если* бы не подчинение своего поэтического творчества апостольской миссии. Поэт сам сказал об этом:

И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

«Агитпроп», если перевести это слово в теологический контекст, есть не что иное, как агитация и пропаганда нового христианского (для Маяковского почти = марксовскому) образа жизни. В этом и заключалось апостольство

Маяковского. Об исполнении своей апостольской миссии он просил не забывать идеальных юношей чаемого будущего:

Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката. (10: 280–284)

Многие наряду с Маяковским пытались создать в слове, в красках образ Христа и его апостолов. Иной раз сами пытались выступить в роли апостолов или даже отождествляли себя с Христом. Но дальше деклараций их христолюбие не шло. Оно не было подтверждено жертвенным служением людям на практическом, повседневном житейском уровне. Никто из них не стал новым апостолом еще и по другой причине. Все они отвергали учение Маркса, тогда как Маяковский – и только он среди поэтов – выполнял наставление Спасителя приводить Его заповеди в соответствие с новыми обстоятельствами и условиями времени и места. Маяковский создал сплав двух величайших революционно-коммунистических доктрин – Назорея и Трирца. Поэтому из всех претендентов только Маяковский стал истинным апостолом. Именно это придало поэзии Маяковского всепроникающую библейскую силу.

Кастельнуово, опираясь на кумранские пергаменты эссеев, утверждает, что Иисус выступал не только против иудейских богачей, но и против тех, кто мирился с римским владычеством. Иисус намеревался во главе своих апостолов, подняв восстание в Иудее, пойти на Рим и, соединившись с восставшими рабами, свергнуть владычество Римской империи,

[6] Прит 8: 22–30 (здесь и далее цит. по: Библия в 2 т. Л.: Духовное просвещение, 1990).

добиться независимости и свободы римской колонии – Иудеи – и преобразовать ее на принципах содружества эссеев. Если невежественные евреи предпочли Иисусу Варавву, то только потому, что Иисус не успел раскрыть перед иудейским многолюдством свои повстанческие цели, и потому, что Варавва, грабя иудейских богачей, отдавал их добро еврейским беднякам. Варавва был своего рода Робином Гудом еврейского народа. Беднота Иудеи не хотела терпеть колониальный гнет и гнет своих богачей, своего высшего священства – синедриона, охранявшего свои привилегии ценой ограбления собственного народа на службе Риму. Если одураченной темной толпе были неизвестны антиримские настроения и намерения Иисуса и Его апостолов, то многие саддукеи, фарисеи, синедрион, царедворцы догадывались или знали, кем на самом деле является Христос и его ученики, каковы намерения и цели Иисуса. Тут разворачивалась настоящая классовая и национально-освободительная война. Благороднейших, честных, правдивых, милосердных людей – апостолов Христа – еврейские богачи и обманутые и запуганные ими еврейские обыватели считали бандитами, грабителями, ворами. А разве русское простонародье при царизме не считало революционеров бандитами и грабителями? Это ведь беспроигрышный способ расправы со своими праведными противниками – оболгав их.

Возвращаясь к деятельности двенадцати и апостола Павла, следует сказать, что без них новая религия не вытеснила бы идолопоклонство, осквернявшее себя кровавыми человеческими жертвоприношениями. Апостолов преследовали и власти, и уличная чернь. Их изгоняли из домов и городов, куда они приходили со своей проповедью, над ними издевались, их заключали в тюрьмы, а иных и убивали. Иисус заповедовал апостолам «ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд»[7]. По Матфею, Христос посылал апостола Петра к погибшим овцам дома Израилева, надеясь всех евреев обратить в христианство, в сторонников коммунистического братства. Иисус дал апостолам власть изгонять нечистых духов, врачевать всякую болезнь и всякую немощь, прокаженных очищать, мертвых воскрешать, бесов изгонять. Христос поучал апостолов при входе в дом приветствовать людей словами: «Мир дому сему». «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших…»[8] В революционной песне русских пролетариев не забывали наставления Спасителя и пели:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!

Парафразой пророка Исаии, предрекавшего разрушение старого мира и создание нового, звучат слова «Интернационала»:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Христос наставлял апостолов: «Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»[9]. Массы языческие всех племен были действительно волками по отношению к проповедникам Христова учения. Чтобы удержаться среди язычни-

[7] Мк 6: 8–9.

[8] Мф 10: 12–14.

[9] Мф 10: 16.

ков, им ничего другого не оставалось, как стать мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. И они стали такими. Несмотря на сопротивление, апостолы многое сделали, чтобы истребить укоренившиеся языческие суеверия. Апостолы учредили церкви во множестве городов Римской империи и заботились об их благонравии. Иисус уже сидел одесную Отца Своего Небесного, когда заметил среди гонителей христианства, предававших христиан на муки, гражданина Рима фарисея Савла и, разглядев в нем благие задатки, обратил его в своего последователя – апостола Павла, сблизившегося с двенадцатью, особенно с Петром, но не ставшего тринадцатым, чтоб не нарушить означенное самим Иисусом соответствие числа апостолов числу колен Израилевых. Апостол Павел проповедовал среди язычников. То, что сотворили Христос и его апостолы, включая, разумеется, умнейшего Павла, не назовешь иначе, как революцией, заложившей духовный фундамент западноевропейской цивилизации, а затем и всего круга христианских земель. В этот круг одна за другой вошли вслед за Европой Северная и Южная Америка, часть Африки, часть Среднего Востока, Армения, Грузия и ненадолго ряд горских племен Северного Кавказа. Чуть не целое тысячелетие после разгрома Рима хранительницей христианства стала Восточная Римская империя (Византия). А из Византии при церковно-языковом и церковно-литературном посредничестве Болгарии православная «цезарепапистская» конфессия христианства стала господствующей в Киевской Руси, а потом в Великой Руси (Московии) и, наконец, во всей обширнейшей Российской империи. За два тысячелетия в церквах мирового христианства и за тысячелетие в церкви русского православия произошли благие и пагубные изменения. Русская православная церковь, христианская этика мирян благотворно повлияли на языческое сознание всех слоев населения, но не преодолели вполне язычества, страха перед невесть откуда наступающими инфернальными силами, ужаса близкого и неотвратимого конца света. Сама церковь за последние два столетия, как только в Россию проник с Запада капитализм (да и самозародился отечественный), паганизировалась, а вместе с тем ее разъедало корыстолюбие, мздоимство и иные грехи. Церковь морально оскоромилась, стала утрачивать доверие паствы.

Два явления одновременно окрасили конец XIX – начало XX в.: «ренессанс» православного богословия с христианизирующей поэзией Серебряного века в обогащающемся и нравственно разлагающемся обществе и (второе) бунтарское, предреволюционное настроение «верхов» и «низов». Среди радикальных противников царского, а затем и царско-думского режима выделялись своей непримиримостью сторонники немецких мыслителей Маркса и Энгельса – большевики. Но кроме организованных оппозиционных партий и групп существовала многомиллионная неорганизованная голытьба, обозленная, но трусливая, не знающая толком, на кого обрушить свой гнев.

Обращение к Христу, к образу Христа стало, как я уже заметил выше, общим местом западноевропейской и русской живописи и литературы. Церковное христианство, увы, стало модной данью художественному символизму. Живописный и литературный образ Христа в годы Первой мировой войны, в последние предреволюционные годы появился не как действенная фигура Спасителя, а как знак эстетического избранничества. Для того чтобы выступить с проповедью истины против тех, кто предпочитал тьму свету, надобно было мужество, стойкость, терпение, милосердие и жертвенность. Такими были двенадцать апостолов, таким стал апостол Павел. И таким же – апостол Владимир.

Что касается Александра Блока, то он поверил евреям Иудеи, оклеветавшим апостолов Христа, и такими изобразил их в своей поэме «Двенадцать» – грабителями, гуляками, убийцами и революционерами (?), а Христа – их предводителем.

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!
Что, Катька, рада? – Ни гу-гу…
……..
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Но ведь и такие «апостолы» приставали к революции, а после Октября кто-то из них вошел во власть, в карательные органы ЧК. А все-таки, как ни крути, «Двенадцать» есть пасквиль на Евангелие, на двенадцать апостолов, на самого Иисуса Христа, на революцию, да и на «Тринадцатого апостола» Маяковского, написанного за три года до блоковского опуса. Сравните апостола Владимира с апостолами Блока. Апостолы Маяковского тоже разнолюдье, но какое!

Мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
…….
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни! (1: 184)

Вспомним стихи Б. Пастернака о Христе. Каковы бы ни были их речевые достоинства, они не более чем картинки, написанные по литературным источникам. Поэт в них всего лишь созерцатель. Даже когда он выступает как бы от первого лица в роли Христа – «Гамлета», он всего лишь декламирующий со сцены персонаж спектакля. Да и христианские стихи Пастернака («Доктора Живаго») не были апостольскими. Нет в «Докторе» активного протеста ни против облыжного коммунизма, ни против черносотенства. Все происходит «поверх барьеров». Михаил Булгаков много «наговорил» всякой всячины о чисто-нечистой силе, но об апостолах и их жертвенных делах – ни словечка. Что касается иностранцев, хотя бы Э. Хемингуэя или П. Пикассо, то к русским делам отношения они не имели и апостолами не были.

Кто мог в условиях назревающего всемирно-исторического переворота в России с позиций революционного и коммунистического, морально не замаранного церковью взгляда просветить толпу русских – растерянных, заблудших? Только Сам Христос или апостол Христа. Таким и был, повторю еще раз, сам себя провозгласивший апостолом поэт Владимир Маяковский. Еще в начальные годы торжества христианства многими было замечено: люди пошли с христианским знаменем, но по языческой дороге. В XIX в. само знамя стало двуколорным: наполовину христианским, наполовину языческим. Первозванные Петр и Андрей, став апостолами, к рыболовству более не возвращались. Апостол Матфей забыл про то, что был когда-то мытарем. Апостол Павел, бывший до призвания ремесленником, лишь изредка сооружал палатки – таково было его ремесло. Тринадцатый апостол решил, что, оставаясь поэтом, он наилучшим образом исполнит свою апостольскую миссию, поскольку его орудие – слово. Марина Цветаева была убеждена, что «от Державина до Маяковского (а не

плохое соседство!) – поэзия – язык богов. Боги не говорят, за них говорят поэты»[10]. Апостольская миссия не только не мешала – углубляла поэтический дар. Но поскольку Маяковский подчинил свою поэзию апостольскому служению, иным казалось (скажем, Пастернаку), что выполняя работу «ассенизатора и водовоза», т. е. поступая именно так, как должен был поступать в преднайденных обстоятельствах апостол, Маяковский изменял поэзии. Все обстояло как раз наоборот. Можно называть себя апостолом, но при этом палец о палец не ударить, чтобы сделать что-то для живой жизни, тогда бы это значило, что объявивший себя апостолом – самозванец. Ни Блок, ни Пастернак, ни Булгаков подлинными апостолами не стали, сколько бы молитвенных слов они ни написали о Христе. Поэтому понять Маяковского Пастернак не мог, а Блок и Булгаков и не пытались.

Апостол Петр проповедовал среди иудеев, апостол Павел – среди язычников, а тринадцатый апостол вынужден был проповедовать и действовать среди христиан. Ситуация необычная – проповедовать христианство среди христиан! Но что делать, если христиане забывали о заповедях Христа, впадали в грех язычества?! Апостол Иаков знал про себя и про других апостолов, что лишь делами вера достигает совершенства, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Иоанн взывал: «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и ис-тиною»[11]. А трудились апостолы до изнурения – ночью и днем. Иначе нельзя было апостолам – соработникам Бога.

«Апостол ли я? Свободен ли я?» – мог бы спросить себя всякий претендующий на апостольское звание. «Да, я апостол», – имел бы право сказать сохранивший верность Христу в предреволюционные годы тот, кто возымел власть над нечистыми духами – над нечистой совестью отправляющих церковную, государственную, военную или гражданскую службу, из-за которых голодали, холодали, а то и гибли простые люди. «Да, я апостол», – по праву считал себя Маяковский, потому что своими плакатами РОСТА, выступлениями перед многочисленными аудиториями, сатирическими стихами, убийственными комедиями выводил на всеобщее обозрение и судилище христоотступников. «Да, я апостол», – твердил Маяковский, не давая спуску обирающим бедноту, обогащающимся за счет неоплаченного изнурительного труда рабочих. Говорят, культуру создают обеспеченные люди, а не полунищий рабочий люд. Но что бы делали богатые без труда беднеющих крестьян и рабочих? Неужели после Христа и после Льва Толстого это надо еще доказывать самодовольным обывателям? «Да, я апостол», – гордился Маяковский, потому что своими сатирическими стихами, карикатурами, сатирическими пьесами изгонял бесов взяточничества, бесов коррупции, бесов лицемерия, бесов ханжества, бесов чинодральства, бесов номенклатурщины, бесов мещанской обывательщины. «Да, я апостол», – горячился Маяковский, потому что раздувал светлое пламя чистого Октября, и «Я свободный», ибо не остановился перед тем, чтобы осудить отступников от Октября, измену его идеалам. «Да, я апостол», – продолжал Маяковский, ибо, поняв провал Октября, *призвал к новой, третьей революции – бескровной революции духа.*

Кто из крупнейших русских поэтов, современников Маяковского, сделал – или хотя бы попытался сделать – что-нибудь подобное? Свободен ли я? Должен и в этом отдать себе отчет апостол. Все двенадцать апостолов – и более других Петр, Андрей, Иаков – и Павел поплатились за проповедь учения Иисуса жизнями своими, но никто за все время непрекращающегося мучительства не отрекся от Иисуса, доказав тем самым, что они свободны. Пожалуй, никто не пострадал от проповедников христианства так, как апостол Павел: его многократно заключали в темницу, избивали палками до полусмерти, требовали, чтобы он прекратил «совращать» народ, грозили ему смертью, если не отречется от Иисуса. Смерть его не страшила. Павел был свободным человеком. Павел был усечен мечом. Апостола Петра распяли

[10] *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 305.

[11] 1 Ин 3: 18.

на кресте вниз головой, его брату Андрею (который, согласно легенде по Борисфену, доплыл до холмов, на которых столетиями позже вырос стольний град Киев) царь Ирод по его возвращении на родину отрубил мечом голову. По приказу Ирода Агриппы предали мученической смерти ап. Иакова Зеведеева. Ап. Иоанн Богослов был ввержен в котел с кипящим маслом, чудесно остался живым и был сослан на остров Патмос. Ап. Фома – «неверующий» – жестоко пострадал в Индии. В Армении, в г. Алванополе, в нынешнем Дагестане, с живого ап. Варфоломея содрали кожу. В Армении, в окрестностях Арарата, был повешен и пронзен стрелами ап. Иуда Левей. Никто из апостолов не избежал гонений властей и невежественной толпы – это было испытание духа свободой. «Все они исполняли дело своего служения с необыкновенной ревностью. Затруднений и препятствий для них как бы не существовало: голод и холод, преследования, темницы, смерть – ничто не останавливало их»[12].

Не избежал участи первых апостолов и тринадцатый апостол. До революции его трижды заключали в тюрьму, последний раз на одиннадцать месяцев в одиночку Бутырок. Но юноша Маяковский остался верен апостольству. После революции его не сажали в тюрьму, не ссылали в Сибирь, но травили по приказу высшей власти, травили громогласно, «всенародно», не печатали, «низвели» в «попутчики» революции, шпионили за каждым шагом, за каждым словом, сделали жизнь невыносимой. Уже в 1920-е гг. его внесли в «расстрельный список» и откладывали исполнение приговора, ожидая подходящего времени, повода и способа «устранения»[13]. К середине 1920-х гг. Маяковский уже знал, что за ним идет охота. Сергей Эйзенштейн уговаривал поэта на время стушеваться, обезъядить свои сатирические стрелы, направленные прямо в грудь номенклатуры. Маяковский не мог отказаться от себя, от своей миссии тринадцатого апостола, как бы его поступки ни осуждали герметические поэты. *Он был свободен.* Может быть, лишь для того, чтобы сбить ищеек со следа, Маяковский время от времени писал, что он все чаще подумывает о самоубийстве. Но он всего лишь пугал самоубийством, а не стрелялся. Маяковский знал, что *апостолы не кончают жизнь самоубийством, что апостолов убивают. Это самый сильный аргумент за то, что он не стрелялся, что его убили.* Мрачнея, все более замыкаясь в себе, Маяковский стоически ожидал своей участи, что не мешало ему все безоглядней, все ювеналистей бичевать «суверенный тоталитаризм». Маяковский был единственным апостолом Иисуса Христа в XX в. – единственным на всю Россию, на всю Европу и на весь христианский мир.

[12] *ТальбергН.* История христианской церкви. М.; Нью-Йорк. Репринтное воспроизведение. 1991. С. 20.

[13] См.: *Горб Б.* Шут у трона революции. М., 2001

Вступление второе

Собираясь рассказать о Маяковском не только как о тринадцатом апостоле, но и как о поэте, я решил рассмотреть его жизнь и творчество через призму социокультурной эволюции России с 1905 по 2005 г., ибо автор «Про это» был, может быть, единственным русским писателем, *конгениальным* российскому XX столетию, и особенно его советскому семидесятилетию. Поэт, драматург, актер, эссеист, агитатор-трибун, художник, редактор, трубадур XX века со всеми его взлетами и падениями, безобразием и красотой, преступлениями и наказаниями (праведными, а чаще неправедными), с любовью и ненавистью, верой и безверием и в христианство, и в коммунизм.

Какими бы грандиозными ни были космические, технические и социальные события, сотрясавшие планету уже после гибели Маяковского, все они выросли, как опера из увертюры, из 1905-1930-х гг., т. е. годов активной жизни и творчества автора поэм «Тринадцатый апостол» и «Во весь голос», совпавших с годами подготовки, победы Октябрьской революции и ее контрреволюционного перерождения, которое продолжается и в наши дни. Эпоха, которую принято называть «советской, коммунистической», была на самом деле эпохой грубого, казарменного коммунизма, противостоящего личности, ее свободе. Советский «коммунизм» подчинял личность анонимному коллективу социума и государства. Одной стороной своего существа Маяковский принимал «советизм» (термин

А. Зиновьева), понимая его не как стадность, а как соборность:

Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз. (6: 304)

Но другой стороной своего существа он выступал за личность, за ее творческую свободу, поскольку свободное развитие *каждого индивида* считал условием свободного развития всех. *Так* понимал коммунизм Маркс. И так, следом, понимал его Маяковский. Поэтому он был не только конгениальным эпохе, но и *контргениальным* ей. Пафос его поэзии и его жизни состоял в утверждении свободной личности как незыблемого устоя общества. Секрет облагораживающего воздействия Маяковского на сердца и умы современников, особенно молодых, коренился в том, что от его стихов, от него самого, такого неуемного, неравнодушного, «в мускулы усталые лилась строящая и бунтующая сила».

Творчество Маяковского представляется мне крупным *социологическим* феноменом – поэт методично, год за годом, строка за строкой, пьеса за пьесой ломал тоталитарную структуру бюрократического общества. Поэзия других выдающихся поэтов – Пастернака, Ахматовой – индивидуалистическая, лирическая – замыкалась на самое себя, как явление чисто эстетическое и герметическое. Она едва касалась социологических проблем жизни общества, что, казалось бы, и должно быть свойственно поэзии христианской. Маяковский, начинавший как сотворец поэзии Серебряного века, не избежал присущего ей христопоклонства, но у него, с отрочества впитавшего в себя идеи «Коммунистического манифеста», выработалось свое, неординарное отношение к Иисусу Христу и его учению. Уже плененный идеями Маркса, юноша Маяковский почувствовал себя тринадцатым апостолом Иисуса Христа задолго до того, как написал поэму «Тринадцатый апостол». Освоив Евангелие и Ветхий Завет, Маяковский увидел, что заповеди Нагорной проповеди и пророчества Исаии, Иеремии, Даниила, Захарии, Иоиля предвосхищают идеи «Манифеста». А Христос, как убедился

поэт, был первым революционером и первым коммунистом, не противопоставляющим личное общему. Спаситель учил о внесоциальной, внегосударственной сущности человека. Об этом учил и Маркс. Проповедь Иисуса была обращена к индивиду, взывала к его свободному самостоянию, исполненному морального достоинства, и только через индивида Христос обращался к народу. Маяковский понял, что быть апостолом Первого революционера и Первого коммуниста Иисуса Христа необходимо, чтобы быть проповедником Последнего революционера и Последнего коммуниста – Карла Маркса. Но, увы! Советская Россия возникла как государство воинствующих безбожников. Ленин был гонителем религии, преследовал богостроителей и богоискателей в собственной партии. А «легальные марксисты» – П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, М. Туган-Барановский, С. Франк были первыми социал-демократами России, воспитанными на идеях Маркса, задолго до Ленина. П. Струве – организатор первого съезда РСДРП в 1898 г. в Минске, сочетавший учение Маркса с учением Христа, по велению Ленина был изгнан из России, как и другие «легальные марксисты» и либеральные профессора, никакого отношения к политике не имевшие. И это несмотря на то, что задолго до «легальных марксистов» Маркс обратил внимание на сходство своего целеполагания с целеполаганием самого Господа: «новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим»[14]. Маркс согласен был с положениями учения Христа о неправедности богатства богатых и о защите «труждающихся и обремененных». Так же думал и Лев Толстой. Большевики предпочли не замечать в писателе, названном Лениным «зеркалом русской революции», мысли «о новой земле и новых небесах». «Легальных» выслали. Но в России остался исповедующий Христа и Маркса толстовец Маяковский, убежденный в близости учений обоих. Писать о Маяковском, игнорируя то, что он был самопровозглашенным тринадцатым апостолом, – значит, писать не о нем, а о каком-то внешне похожем на него выдуманном персонаже. Но именно так о нем и писали, нанося ущерб представлениям о целостности личности поэта. Я порываю с этой трусливой традицией. Алексис де Токвиль заметил, что нерелигиозных революций не бывает. И атеистическая, антицерковная, антихристианская Октябрьская революция по установленным ею порядкам была на деле православной в самом строгом протопопо-аввакумовском смысле слова. Ленин полагал, что советское общество будет подобно «чаплинскому» конвейеру («Огни большого города»). А бывший семинарист и слушатель Духовной академии превратил советское общество во всесоветский монастырь, где каждый должен был трудиться, поститься, каяться и молиться своему Господу, единому в трех лицах (иконам Маркса, Ленина и Сталина), и многочисленным святым – надсмотрщикам, отвечающим за соблюдение монастырского устава каждым иноком, вылавливающим грешников и жестоко наказывающим их. Маяковский – тринадцатый апостол – пришел в этот монастырь со своим уставом. Его долго терпели, потому что все-таки апостол, к тому же что-то из монастырского устава, не разобравшись, усвоивший. А может быть, он повинится, раскается и примет устав нашего монастыря. Ожидания были напрасны. Поэт повел себя как Мцыри. Не мог бежать из монастыря, но устав его отверг.

Есть еще одна веская причина, почему я выбрал Маяковского в качестве протагониста своего повествования. Я хочу рассказать о России как о рассыпающейся империи, оказавшейся неспособной удержать в своем составе Украину и Кавказ, фланкирующие Россию с Запада и с Востока. А Маяковский был кровно связан и с одной, и с другим, ибо был по происхождению украинец, а по рождению грузин. В его поэзии и личной судьбе переплелись неравноправные отношения метрополии (России) к этим двум союзным республикам (фактически – колониям). Русский поэт душой болел не только за Россию, но и за Украину, и за Кавказ.

[14] Ис 66: 22.

Через хаотичный период российской социокультурной эволюции и краткий абортированный прорыв России в Историю (который был бы немыслим без Кавказа и Украины) я попытаюсь объяснить перепады в творчестве Маяковского как поэта.

Модусы анализа материала и стилистика разделов будут различны в деталях, но останутся в русле методологии *историософии проектизма*[15].

Мы живем в эпоху медленного, постепенного исчезновения обособленных наций и обособленных государств. Иначе этот процесс, а не какой-либо другой (американизацию, например) следует называть глобализацией. Он вызвал противонаправленное движение бывших колоний и зависимых стран к обретению национальной независимости и собственной государственности[16]. Судьбу мира решит противоборство этих двух взаимоотрицающих тенденций. Свое место в этом противостоянии Маяковский выразил краткой формулой:

Нации сети.
Мир мал.
Ширься, Третий
Интернационал! (2: 43)

Да, сети следует распутывать, распускать, выбираться из них на простор мировой жизни. Лишь бы каждый индивид каждого народа, каждого этноса и каждого племени выявил все заложенные в нем возможности личностного становления и самостояния. Как и во всем другом, позиция Маяковского была двуликой, соответствующей двуликости российской социокультуры, к которой он принадлежал. Он был «националистом», разделяя со своими нациями согласие всех относящихся к ним consensus omnium во всех решающих вопросах, но одновременно и интернационалистом, гражданином мира. Поэтому-то Маяковский мог сказать, обращаясь к недавним врагам России, потерпевшим поражение в Первой мировой войне:

Я давно с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распеснить боль. (4: 50)

Мне остается добавить, что я буду перемежать разбор произведений и проблем творчества Маяковского краткими вторжениями в его биографию.

С хронологией я буду обращаться произвольно.

---

[15] См.: *Кантор К.М.* Двойная спираль истории. Историософия проектизма.

[16] Национальные и многонациональные государства не всегда существовали. В социокультурной эволюции нации возникают на сравнительно низкой ее ступени. Многообразие природных условий привело к многообразию этносов, народностей, наций, к многообразию национальных языков и их этнических дериватов. В жизненном процессе происходило смешение наций или их разделение, что доказало: неизменность наций и этносов не абсолютна. Те нации, которые достигли апогея национального разития (если брать только Западную Европу) в XIX в., почитались наиболее устойчивыми. А как было на самом деле? И.Г. Гердер, исследователь становления наций и национальных государств, показал, что все великие нации Западной Европы есть результат многотысячелетнего смешения множества племен, этносов и наций. То же самое справедливо и по отношению к России и ко всем бывшим национальным республикам СССР.

Раздел первый
Большие и маленькие трагедии

Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек…
В. Маяковский

Часть первая
Истоки гения

Далеко не все апостолы Иисуса Христа были гениальны. Да этого от них и не требовалось. Тринадцатый – был. Можно считать это его недостатком или достоинством, но это было так. Гениальность не атрибут апостольства, а поэтический дар Маяковского был гениальным, что не мешало ему следовать своему апостольскому предназначению, но, напротив, помогало. Истоки гения, как и любого человека, двояки: духовно-небесные и обыденные, социокультурно-земные, соответствующие двойственной природе потомков Адама и Евы. Гений, в отличие от негениев, стремится перекрыть, «задраить» или преобразовать истоки профанные и распахнуть свою душу свету божественно-звездному. Мы теперь знаем, что электрон так же неисчерпаем, как атом. А человек? Как живое существо он также неисчерпаем, он бесконечен в своей человеческой сложности. Вся его постнатальная жизнь есть путь к обнаружению, выявлению, раскрытию всех тех неисчислимых духовно-витальных энергий, какие были запечатлены в нем с момента зачатия. Только что рожденный долго не понимает себя, не понимает, кто он. Малыши часто задают родителям один и тот же вопрос, на который мамы не в состоянии ответить: «Где я был, когда меня не было?» Думают, что до зачатия младенца нигде не было. А он был, был как духовный замысел, как проект Господа, как это объяснил Саваоф сомневающемуся в своем призвании пророку Иеремии. Как непредсказуемо, внезапно, скачкообразно человек приходит к сознанию и самосознанию, испытывая природные и социокультурные влияния, какие-то усваивая, какие-то отторгая или трансформируя, так человек приходит к самопознанию и самочувствованию своей уникальности и общей со всеми другими индивидами микрокосмичности. Гений – микрокосмос, вспыхивающий, как звезда, тогда как негениальные индивиды (тоже микрокосмосы) могут прожить долгую жизнь, так никогда и не превратившись в звезду. В гении обострена его микрокосмичность. Поэтому он на «ты» со звездами. «Мы желаем звездам “тыкать"», – говаривал Велимир Хлебников. Гении – редкость среди людей. Они нарушают привычное течение жизни. И хотя они служат людям, мало кто из них удостаивается внимания и «низов», и «верхов» при жизни. «Они любить умеют только мертвых», – корил своих подданных царь Борис, выражая мысль Пушкина. Жизнь гения – тяжкое испытание, иногда подвиг, завершающийся почти неизбежно поражением. Гений одинок по определению. Одинок космически. Никакой «традиции одиночества» нет и быть не может. Не существует никакого особого «одиночества Маяковского». Оно точно такое же, как апостола Павла, пророка Иеремии, брошенного на верную мучительную смерть своими соотечественниками, как одиночество Пушкина и Лермонтова. Оно мало общего имеет с одиночеством «потерянного поколения» Хемингуэя или Ремарка – одиночеством блуждающих звезд всех потерянных поколений начиная с пророка и законодателя Моисея. Евреи, выведенные из Египта Моисеем, были, правда, для Египта потерянным поколением, но не для себя самих. Сорок лет скитаясь в полубеспамятстве по пустыне, они были не скопищем одиноких, а, скорее,

одинокой толпой, ведомой почти затерявшимся в ней единственным одиноким – Пророком. Одинокие толпы можно наблюдать в современном городе (как это показал в одноименной картине Максим Кантор), но это не одиночество индивида.

Параграф первый
Мольба о звездах

Маяковский любил Божественные небеса, где одесную Господа восседает Иисус, и одновременно рвался в пространства Лобачевского и Эйнштейна. Ему нравилось играть с небесными светилами: Солнцем, Луной, звездами, кометами, но чаще всего со звездами. Он улавливал их темными и светлыми метафорами: то ночь «обложила небо звездной данью», то «небо опять иудит пригоршню обрызганных предательством звезд», то поэту кажется, что, возвращаясь после безракетного полета из Занебесья в Небеса, он лениво вычесывает запутавшееся в волоса «звездное репье», то над ним прочертила параболу «звезда Вифлеема», то он видит «звезды небес в карауле» у гроба Ленина. И уже без метафор с благоговением верующего взывает к небесным светильникам. А рядом с ним кто-то – кто-то другой. Кто этот «кто-то»? Полагаю, Лермонтов. Говорят, Маяковский, прогуливаясь по пустынной проселочной тропе, твердил про себя лермонтовское:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

«Выхожу один я на дорогу.», 1841

А на людях шутил: «Одному гулять, видите ли, скучно». Но тут же, как свои, повторял лермонтовские строки:

Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

«Небо и звезды», 1831

В дерзновенной зависти – провидение своего звездного будущего. А та другая звезда, с которой он разговаривает, – не звезда ли это Маяковского? Автор «Послушайте!» однажды пошутил: «Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом». Звездочетом все-таки не стал, а стал еще одной сверкающей звездой. В земной жизни Маяковского беспокоило звездное настоящее людей:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,

врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку! (1: 60)

Маяковский страдал от этой болезни – «беззвездной муки». А Кант посмеялся бы над этим недугом поэтической фантазии. Учивший о непознаваемой «вещи в себе», кенигсбергский профессор твердо знал, что звезды были, есть и будут в любую земную непогоду, потому что он был не поэт, а философ: «Две вещи наполняют душу всегда новым и тем более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И то и другое мне нет надобности только предполагать как нечто окутанное мраком или лежащее за пределами моего кругозора; я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования»[17].

Звездный ковер, вытканный Богом из бессмертных душ, оберегает людей от бездны небытия. Становясь звездами, поэты беседуют друг с другом, какие бы расстояния их ни разделяли. Поэты ведают, что это Господь зажигает и гасит звезды, а вдруг… не зажжет? Когда же наконец «в свой срок» Бог зажигает звезду, человек

ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?! (1:60, 61)

Маяковскому это было необходимо во все дни его жизни, вплоть до последнего вздоха. Таковы были духовно-звездные истоки его гения. Но были и земные. Как бы благодатна ни была молитва поэта о звездах и мысленное пребывание в эмпиреях духа, Маяковскому как тринадцатому апостолу следовало опуститься на самое дно человеческого прозябания, углубиться в дремучие политические и экономические дебри, чтобы исполнить свое апостольское предназначение. Отроком, затем юношей он бросился с головой в омут народной борьбы против самодержавия и его опричников, бросал камни в казаков, теснивших грузинских инсургентов, под псевдонимом «товарищ Константин» вел марксистский кружок среди

[17] *Кант И.* Соч. М., 1997. Т. 3. С. 729.

булочников, принимал участие в освобождении политзаключенных – женщин из Невинской тюрьмы. Трижды был арестован.

Его «университетами» стала одиночка Бутырской тюрьмы, где он протомился почти год. В камере – разрешали! – читал запоем русскую классическую и современную поэзию. Писал подражательные стихи a la Андрей Белый, а хотел про свое и своими словами, своими ритмами и рифмами. Не получалось.

Параграф второй
«На дне»

Дело происходило не «на дне» Максима Горького, а несколькими провалами ниже. Владимир Владимирович почувствовал тягу к поэтическому преодолению мерзостей жизни. Когда он выходил из Бутырок, была ночь. И об этом его первые стихи, прочитанные Давиду Бурлюку:

НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая. (1: 33)

На футуристические реминисценции этого опуса неоднократно обращали внимание. Не смущаясь полуплагиатом, я повторюсь, поскольку чрезмерная зашифрованность текста нуждается в этом. В смятенном впечатлении от шулерской ночи и ломящейся в двери толпы – сгусток живописно-словесных новаций футуризма. Расшифровка метафор этого стихотворения предлагалась неоднократно. Я считаю необходимым напомнить ее, ибо она дает представление о том «дне жизни», где оказался поэт, о контрасте между уже сформировавшейся незаурядной личностью и обитателями дна, не того дна, которое живописал Горький, но все-таки «дна». «Багровый и белый отброшен и скомкан» – это, конечно, ночь, сменившая день. «А черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты» – окна. Они похожи на черные ладони, до того как в комнатах зажигают свет. Но почему ассоциации с горящими желтыми картами? Поэт думает образами, а картежник – картами. А поэт Маяковский был еще и заядлым картежником. Но как подсвеченная как бы софитами тьма, оку-

тавшая здание, превращается в синие тоги? А что это за толпа, как кошка, проникающая за синие тоги в свой. вертеп? Ведь это картежники, шулера, проститутки. «Я, чувствуя платья зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул». А что еще мог желать увидеть и пережить в городе здоровенный детина? Хотя он говорит без угрызений совести и с гадливостью о пестрошерстой кошке толпы, он сам затесался в нее. Протрезвевшему к утру поэту сделался больней «враждующий букет бульварных проституток», и жутко и отрадно было взглянуть, как гроба домов публичных «восток бросал в одну пылающую вазу» («Утро», 1: 35). Но все те же видения не покидали его и в порту, куда он забрел, шатаясь по городу.

В. Маяковский. 1912 г.

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.

Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей. (1: 36)

Вот оно, маяковское: очеловечение мертвой вещи. Из него позже вырастет посвящение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». А следующим был кинжальный по языку, по содержанию философский пируэт поэта.

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб? (1: 40)

Как изобретательна человеческая фантазия! Все может, если она маяковская. А поэт хочет еще – не сходя с места – волшебно преобразить развращенный город, свою утлую комнатенку и свой сырой завтрак, и притом без помощи золотой рыбки. Вот. удалось! Чешуя жестяной рыбы стала заманивать его зовами новых губ, а водосточные трубы, как флейты, играли ему мелодии струйками дождя. И опять перед нами одухотворение натюрморта. Буддист не наступит на малую травинку, потому что она живая. Для Маяковского, не столько как для буддиста, а как для тринадцатого апостола, весь мир живой – и камни, и скалы, и море, и звезды, и растения, и животные, и все вещи, созданные человеком – и станки, и мосты, трамваи и пароходы, дома и города. В «искусственном» не меньше жизни, чем в «естественном». Молния в утюге живая, как и в небе. И утюг – живой. Все, все живет и дышит, взаимопревращается. Не терпит поэт мертвечины. И обожает всяческую жизнь. Поэтому ему хотелось бы вовлечь в причуды своей фантазии и читателя: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Пройдет немного времени, и поэт сам сыграет на флейте, но то будет флейта не водосточной трубы, а его собственного позвоночника.

Параграф третий
Трагедия «Владимир Маяковский»

Цикл стихотворений 1913 г. «Я» завершается строфами, подготовившими осознание Маяковским себя как поэта-избранника, сопричастного Христу, болезненно переживающего свое превращение в пророка, апостола и молящего Солнце и самое Время завершить предначертанную ему метаморфозу:

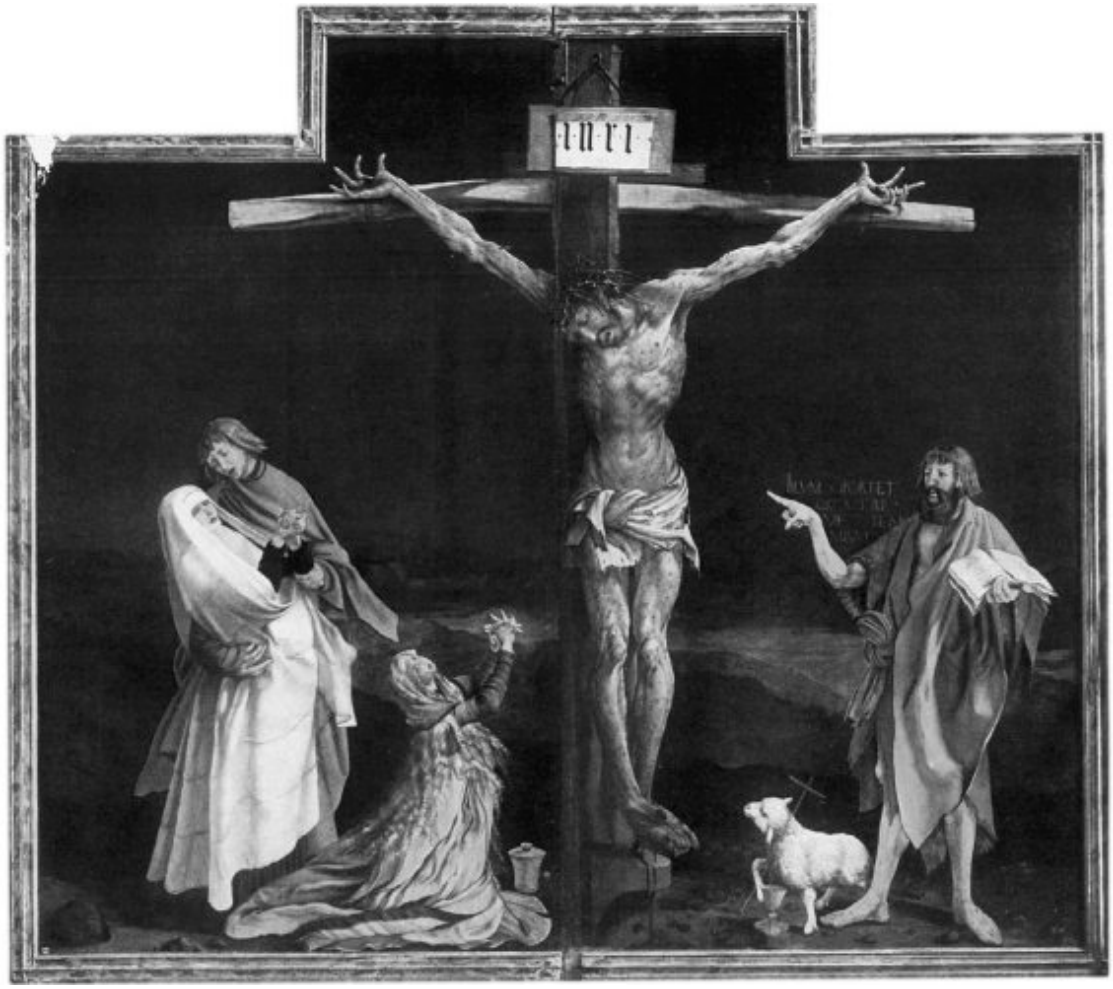
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край

целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!» (1: 48, 49)

После этого экзистенциального исступления, как его нарастание и завершение, после «Я» поэзия Маяковского взрывается трагедией, раскрывающей, что «Я» – это не кто иной, как сам «Владимир Маяковский», трагедией, где поэт впервые, еще до «Облака в штанах», выступает как пророк, как тринадцатый апостол.

Трагедия «Владимир Маяковский» – определение всего творчества Маяковского, текущего и того, которое последует. Это, если угодно, и проекты его магистральных поэм: в шифре ее метафор содержатся и «Облако в штанах», и «Флейта-позвоночник», и «Война и м1р», и «Человек», и «Про это», и «Во весь голос».

Маяковскому необходим диалог с самим собой – бесконечная само-рефлексия. Она реализуется в диалоге с фантомами его сознания – тысячелетним стариком с черными и сухими кошками, человеком без глаза и ноги, человеком без уха, человеком без головы, человеком с растянутым лицом, человеком с двумя поцелуями, обыкновенным молодым человеком, женщиной со слезой, женщиной со слезинкой, женщиной со слезищей и громадной, молчащей знакомой Владимира Маяковского. Все они выступают как самодостаточные действующие лица трагедии. Они исполняют свои самостоятельные роли, произносят монологи, вступают в общение с поэтом, осаждают его своими просьбами, спорят. Это не маски греческого театра. Они одномерны, однолинейны и даже точечны. Каждая роль – фантом, олицетворение какой-то одной беды, горя, тревоги, страдания, бессилия, беспросветности существования. Они материализуются актерским исполнением. Однако все они не более чем проекция в сценическое пространство фантомов сознания самого поэта Владимира Маяковского. Внешнее и внутреннее взаимопревращаются. Поэт ведет диалог с самим собой. Место действия трагедии – современный город в паутине улиц, шумный, скучный и страдающий город, в котором вещи подчинили себе людей.



Маттиас Грюневальд. Распятие. 1510–1515 гг. Центральная часть Изенгеймского алтаря

Люди несчастны, они нищие, и души у них – рабские. Не все мирятся со своим положением безмолвных рабов, пленников вещей, пленников адища города. К ним-то и обращается поэт, обещая им духовное раскрепощение, обновление их судьбы, если они придут к нему. Но кто он такой, что ему дано преобразовать жизнь людей? Теологический статус поэта неопределен – он то ли истинный Христос, сменивший в божнице церковного уродца века, то ли апостол Спасителя. Он обращается к рабам, угнетенным и бедствующим с тем же по смыслу призывом, что и Христос, но иными словами. Сын Человеческий говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»[18]. У Маяковского Христово «приглашение к надежде» получает другое оформление:

Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою

[18] Мф 11: 28–30.

словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам. (1: 154)

Да, поистине деяние это равно деянию апостола – вытрясти из людей рабские души и вдохнуть в них души свободные. Ведь ради этого прежде всего и явился Христос. И деяния Его повторяли апостолы. Чтобы одарить обезлюбленный мир способностью любить и разрушать языковые преграды между людьми, Его ученикам нужно было получить от Сына Человеческого власть над нечистыми духами, дар изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Скорее всего, в трагедии «Владимир Маяковский» у поэта пробудился дар того самого тринадцатого апостола, именем которого он назовет свою программную поэму. Об этом свидетельствуют бунтарские настроения поэта, каких нет в Евангелии. Первое действие трагедии начинается праздником нищих, похожим на праздник нищих Роберта Бернса:

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Зажег! Веселье клокочет. А каково при этом самому алмазнику? Он веселится со всеми, смеется. Пробуждающийся в нем фантом – *тысячелетний старик* – видит в поэте распятие его раздвоенного самосознания:

И вижу – в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.

(Не смех сквозь слезы, а слезы сквозь смех – так же у Гоголя – так точнее.)

Старик – вещун. Он видит и то, что отражает подсознание поэта. Так через своего внутреннего тысячелетнего старика Маяковский прозревает:

Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.

А в чем оно – громадное горе и сотни махоньких горь? В том, оказывается, что созданная людьми искусственная городская среда, вещный мир отгородил человека от живой природы, от естественного света небесных светил, и стал он рабом не только социальных и политических господ, но и им самим созданного вещного посредника. Человеку стало чуждо естественное восприятие стихии природы. Старику (стало быть, Маяковскому) не по себе оттого, что

…свечи и лампы в галдящем споре

покрыли шепоты зорь.

Старик, живущий в сознании Маяковского (или, скорее, в подсознании – ведь старику тысяча лет), сетует:

Ведь мягкие луны не властны над нами, —
огни фонарей и нарядней и хлеще.

А отсюда вывод, наперед определивший враждебное отношение Маяковского к вещам, к искусственному материальному миру:

В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.

Вывод старика – лейтмотив трагедии «Владимир Маяковский» и, пожалуй, всего его творчества. Старик (Маяковский) зовет назад к природе, назад в Египет, где электричество добывали, гладя сухих и черных кошек. А что произойдет, если не электростанции, а электрические вспышки кошачьей шерсти люди вольют в провода

в эти мускулы тяги, —
заскачут трамваи,
пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги.
Мир зашевелится в радостном гимне,
цветы испавлинятся в каждом окошке
…….
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек…

Человек без уха (еще один фантомизированный голос подсознания Маяковского) соглашается со стариком: «Это правда!» Предпочтение первозданной природы скопищу произведенных рассудком вещей – преступление.

Отмщалась над городом чья-то вина…

Чья же? Самих людей.
Городской гопак вещей продолжался —

…везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!

Человек без уха не выдерживает натиска вещей:

Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,

непонятна и тревожна,
как слеза на морде плачущей собаки.

Становится еще тревожнее. **Старик с кошками** торжествует:

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом – фантом неопределенности – за сомневался:

А, может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?

Человек без уха не сдается:

Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.

И тут **Человек с растянутым лицом**, нащупав выход своим со мнениям, радостно поддакивает:

И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо! (1: 156–158)

Переиначивать структурные элементы вещей позволяла искусственность их конструкции. А почему бы не делать того же самого с людьми? Садистские пытки над человеком (инквизицией ли, нацизмом ли, палачами ли ГУЛАГа) приводили к сходному результату в физическом уродовании индивида. Он для всех этих институций был не разумным существом, а бездушной вещью. Предвещало подобное обращение с человеком накануне кровавой и костоломной «эпохи войн и революций» искусство модернизма – сюрреалистические, футуристические, супрематистские живопись и литература.

Маяковский сюрреалистически (задетый волной западноевропейских новаций, но совершенно по-своему, самобытно и с другими целями) изобразил персонажей своей первой пьесы – свои фантомы. Сюрреализм Маяковского так же отличался от европейского, как его футуризм от футуризма Маринетти. Вообще влияние западноевропейской культуры на русскую (не только искусства, но и философии, и политики, и естествознания, и революционных и социалистических идей) было многовековым, непрерывным и громадным, но неизменно уподоблялось генотипу русской социокультуры и чаще всего превращалось в нечто противоположное, при сохранении европейских названий, терминологии и некоторых сходных приемов и ходов мысли. Классический пример российских заимствований у Европы – судьба марксизма в России, вывернувшего оригинал наизнанку. Так и с Маяковским.

Под его пером сюрреализм предстает как средство овеществления людей. Поэт осуждает вещизм и робость людей сбросить с себя иго вещей. И наконец, под влиянием осуждений поэта («Все вы, люди, / лишь бубенцы / на колпаке у бога») и вдохновений его апостольских деяний человек одерживает победу над вещами, заставляя их служить людям:

Я – поэт,

я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных. (1: 159)

Люди и во главе их сам Владимир Маяковский поднимают мятеж против вещей. Устами самого увечного **Человека без глаза и ноги** он говорит:

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
……
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем:
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием. (1: 155)
…….
На улицах,
где лица —
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!

Все это – злость, безумие, криворотый мятеж – зарождение мотивов «Облака в штанах». На противовещное восстание в злобе поднялись города и, представьте себе, победили:

…вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни! —
без человечьих ляжек!
Пьяный —
разинув черную пасть —
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes». (1: 162, 163)

Это очень напоминает Николая Васильевича Гоголя, не правда ли? Этой победой человека над вещами завершается пьеса «Мистерия-буфф». Вещи были повержены – временно, конечно, – но человеческое горе осталось. И горюют за всех и более всех женщины. Они

несут к поэту – апостолу, «князю» – свое горе, завязанное в узелки. Подходят к нему робко, кланяясь. Они молят Маяковского, чтобы он отнес их горе своему Богу. В узелке одной женщины слезинка, в узелке другой, у которой сын умирает, – слеза, в узелке третьей женщины – неопрятной, грязной от грязи города – большая слезища. А женщины с узелками, полными слез, идут и идут к своему поэту-апостолу, который примет их горе, как поступал Христос: «…да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”»[19]. Так же поступали и апостолы. Так поступает и Маяковский. Но узелков со слезами все больше. Ему не унести их:

Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора. (1: 166)

Поэт спешит к Иисусу. Но его внимание отвлекает *Человек с двумя поцелуями.* Он – фантом продажной любви. Ее проявление – продажные поцелуи. Слезы – влагу безгрехов-ного горя сменяют поцелуи – горя греховного. Поцелуи нагло осаждают поэта-избавителя, как до того робко вручали ему горе-слезы несчастные женщины Под макияжем, в поцелуях скрывающие свое нечестивое горе – «жрицы любви». Они повсеместны – на земле и на небе, где путаны – тучи.

Человек с двумя поцелуями рассказывает:

Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.

В. Маяковский

Что?

Человек с двумя поцелуями

Деньги и деньги б!

Рассказ его о большом и грязном человеке, которому, как и ему, подарили два поцелуя – макабрическая фантазия. У поцелуев своя жизнь. Пока они маленькие, они служат человеку. Их можно даже одеть на ноги, как калошу. Большой и грязный человек замерз, хотел отделаться от поцелуев. Бросил. А у поцелуев вдруг выросли ушки. Поцелуй стал вертеться и попросился к «мамочке». Человек испугался, отнес поцелуй домой, хотел вставить его в рамочку. Роется в вещах.

Оглянулся —

поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,

[19] Мф 8: 17.

вырос,
смеется,
бесится!

Очумевший, уставший человек с горя повесился.

И пока висел он,
гадкий,
жаленький, —
в будуарах женщины
– фабрики без дыма и труб —
миллионами выделывали поцелуи, —
всякие,
большие,
маленькие, —
мясистыми рычагами шлепающих губ (1: 167–169).

Маяковский, как Христос, простил российских Магдалин, а их дети-поцелуи тоже несут Маяковскому свои слезы – слезы греха и раскаянья. Боль сострадания терзает душу поэта. Он собирает в чемодан все слезы – и невинные, и греховные, – чтобы отнести их Богу. Вещи повержены. И человек как-будто развеществлен, но он по-прежнему не свободен, он – горемыка, носитель всех социальных горестей – и обычных, и постыдных.

В. Маяковский

Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.
Я добреду —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер. (1: 170–171)

Диалог с самим собой, с фантомами своего сознания разочаровал поэта. Он, милосердный, лишь убедился, что не в состоянии вырвать из своей души занозы человеческих страданий. Они язвят его, как его собственные страдания. Горе людское непролазно. Поэт растерян. Не знает, как быть, что делать. Вообразил себя пророком, апостолом. А Бог отвернулся

от людей и от него, своего пророка. Завершает Маяковский трагедию монологом безжалостного осуждения людей, самого себя и богоборческим поклепом на Господа:

Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел – у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного высох,
я – блаженненький.
Но зато
Кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он – вор!

Блаженненькому все дозволено – и мудрость, и шутовство. Трагический пафос пьесы разрежается дурачеством:

Иногда мне кажется —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский. (1: 172)

Трагедия написана в 1913 г. Маяковскому было 20 лет. Богоборческие настроения не покидали его. Но еще сильнее в нем крепла уверенность, что его призвание – быть новым апостолом Иисуса. Юноша развивался катастрофически быстро. Уже через два года после трагедии «Владимир Маяковский», в 1915 г. он выступил в облачении ученика Спасителя в поэме «Тринадцатый апостол».

Параграф четвертый
Оправдание апостольства

Конечно,
почтенная вещь – рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов – почтенный паче —
Людей живых ловить, а не рыб. (2: 18)

Это почти дословная цитата из Евангелия от Матфея: «Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого “Петром”, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним»[20]. Сыновья Зеведея – Иаков и Иоанн – тоже были рыбаками и тоже пошли за Христом и стали апостолами. Ловцы человеков – рыбаки (а позже мытарь и ремесленник Матфей), действуя как апостолы, обращали язычников в христиан…

Двадцать столетий прошло после Распятия. Благословленные самим Христом на апостольское служение давно уже умерли, а потребность в новом апостоле, коль скоро сам Господь припозднился со Своим вторым пришествием, была более настоятельна, чем во все прошедшие века.

[20] Мф 4: 18–20.

С домашним любимцем Булькой. Москва, 1926 г. Фото О.М. Брик

Среди немалого числа священнослужителей – по замыслу апостолов, «хранителей веры» после их смерти – сыскались такие, кои учение Спасителя подменили христианской *идеологией,* внешне похожей на оригинал, но служащей лишь толстосумам и властям. Под их влиянием церковь оправдывала бедствия крестьян, эксплуатацию рабочих, вражду между народами. В массах верующих религиозная мораль давно уже переплелась с языческими нравами, и языческое усугублялось все больше. Корыстолюбие охватило все стороны жизни человека: любовь и неприязнь, дружбу и предательство, семейные добродетели и распутство, науку и шарлатанство, искусство и ремесленничество. Под угрозу поставлен был замысел Господа о Его высшем творении – человеке. Первая мировая война вытравила из сознания самых стойких интеллектуалов веру в прогресс. Произошел невиданный мировоззренческий кульбит к пессимизму, к философскому нигилизму, к идеологическому выхолащиванию христианства. На фронтах гибли сотни тысяч. Поезда везли с фронтов в госпитали искалеченных – безногих, безруких. А между тем жрущая жирноживотая публика продолжала свои гастрономические оргии.

Среди жирноживотых буржуа-тунеядцев нелепо искать апостолу родственную душу. Проповедь апостола они осмеют. Но Маяковский найдет еще тех, кому будет нужна апостольская правда, а пока. Пока он готов отдать свою любовь другим существам, вещам; он готов слезами омыть асфальт, истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев покрыть умную морду трамвая («Язык трамвайский вы понимаете?»). А если не дома, не асфальт, не обои, то он рад водить дружбу с животными – с собаками, лошадьми, страусами, жирафами, медведями, сочувствуя их бедам и, как бывало, сам мысленно перевоплощаясь в них.

Маяковский рассказал однажды, как весь искусанный злобой, он сам превратился в собаку, разучился отвечать по-человечьи, у него вырос собачий клык и собачий хвостище.

И когда, ощетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки и залаял:
Гав! Гав! Гав! (1: 89)

Так злая, озверевшая толпа обезобразила поэта, обожавшего собак:

Я люблю зверье.
Увидишь собачонку —
тут у булочной одна —
сплошная плешь, —
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь! (4: 183)

Параграф пятый
Ювеналов бич

Искусство – не социология, оно обращено не к обществу, а к личности, ее судьбе и только через нее к обществу. Его борьба с обществом становится тем более раблезиански издевательской, чем более общество оскотинивается. Персонажи такого общества – анонимны. Они – физиологические особи, озабоченные исключительно одним – бесперебойным функционированием своего материально-телесного низа (по бахтинской трактовке Рабле).

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин. (1: 99)

Это – обобщенный портрет капиталиста (врага революции, врага любви) – тупой и богатый соперник нищего поэта. Маяковский бродит по городу полуголодный. И везде видит одну и ту же сцену, как будто написанную Рабле:

Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицого розового теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита. (1: 112, 113)

Когда поэт посмотрел влево, увидел образину, по сравнению с которой первая показалась воскресшим Леонардо да Винчи. Все эти персонажи Маяковского напоминают гастроляторов Рабле: «Все до одного были тунеядцами. Никто из них ничего не делал, никто из них не трудился. и была у них, видно, одна забота: как бы не похудеть и не обидеть чрево. Пантагрюэль сравнил их с циклопом Полифемом, который у Еврипида говорит так: “Я приношу жертвы только самому себе и моему чреву, величайшему из всех богов”»[21]. Но Маяковскому докучают не только эти разбухшие гастроляторы, но и те поэты, «от книг которых в волосах

[21] *Рабле Ф.* Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. Н. Любимова. М., 1966. С. 568–569.

заводится мокрица и сердце обрастает густым волосом». Он убежал из дома, влекомый тоскою к людям. Ни на улицах, ни в кинематографах, ни в кафе людей он не встретил. Вид двух обжирающихся толстосумов окончательно добил его. Поэт в отчаянии:

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому? (1: 113)

Параграф шестой
Ювеналов бич (продолжение)

После Октября поэт хлестал тунеядцев не менее беспощадно, чем до революции. О ДРЯНИ

…Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
……..
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ, Надя!
К празднику прибавка -24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем

сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните – чтоб коммунизм
канарейками не был побит!» (2: 73–75)

ВЗЯТОЧНИКИ

Взятка на Руси существует с основания государства. Русь платила дань – сначала хазарам, потом варягам, позже татаро-монголам. А где дань, там и взятки. Казалось, революция уничтожит взятку. Ничего подобного. Она теперь стала королевой человеческих отношений. Появились виртуозы взятки, мастера, академики.

Такому
в краже рабочих тыщ
для ширмы октябрьское зарево.
Он к нам пришел,
чтоб советскую нищь
на кабаки разбазаривать.
Я
белому
руку, пожалуй, дам,
пожму, не побрезгав ею.
Я лишь усмехнусь:
– А здорово вам
наши
намылили шею! —
Укравшему хлеб
не потребуешь кар.
Возможно
простить и убийце.
Быть может, больной,
сумасшедший угар
в душе
у него
клубится.
Но если

скравший
этот вот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
……
страшней
и гаже
любого врага
взяточник. (7: 137)

СЛУЖАКА

Подрабатывая в средней школе уроками логики, студент философского факультета МГУ Александр Зиновьев, прирожденный учитель и воспитатель, отдавался своему «левому заработку» не формально, со страстью. Он привязался к школьникам, а они полюбили его. Однажды мой друг Александр пригласил меня в свой класс почитать Маяковского, которого сам ценил как величайшего поэта и наставника молодежи. Я выбрал самое педагогическое стихотворение, обнажающее явление сравнительно новое – новый тип «совка».

Появились
молодые
превоспитанные люди —
Моиров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МКК
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф —
и парт —
и прочих взносов.
Честен он,
как честен вол.
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм

по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
– Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди. —
Мелких дельцев
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо,
безмятежно,
узколобо.
День – этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам, —
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.
До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо

молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода…
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.
Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченной
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;
быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь. (9: 122–125)

Школьникам Зиновьева посчастливилось учиться логике у настоящего коммуниста, который дерзал, думал, хотел и смел. И не только в школе, а всю свою последующую жизнь новатора-философа, писателя и художника.

СЛЕГКА НАХАЛЬНЫЕ СТИХИ ТОВАРИЩАМ ИЗ ЭМКАХИ
(Юрию Лужкову и Зурабу Церетели посвящаю)

Прямо
некуда деваться
от культуры.
Будь ей пусто!
Вот
товарищ Цивцивадзе

насадить мечтает бюсты.
Чтоб на площадях
и скверах
были
мраморные лики,
чтоб, вздымая
морду вверх,
мы бы
видели великих.
……
Слышу,
давши грезам дань я,
нотки
шепота такого:
«Приходите
на свиданье
возле бюста
Эф Гладкова».
Тут
и мой овал лица,
снизу
люди тщатся…
К черту!
«Останавлица
строго воспрыщаица»
……
И с разискреннею силищей
кроют
мрачные от желчи:
«Понастроили страшилищей,
сволочи,
Микел Анжелычи».
Мостовой
разбитой едучи,
думаю о Цивцивадзе.
Нам нужны,
товарищ Медичи,
мостовые,
а не вазы.
Рвань,
куда ни поглазей,
грязью
глаз любуется.
Чем
устраивать музей,
вымостили б улицы.
Штопали б
домам
бока

да обчистили бы грязь вы! (9: 145–147)

Параграф седьмой
И бог заплачет над моею книжкой

Маяковский идет на улицу, а улица, о, ужас, похожа на проститутку, зараженную венерической болезнью.

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым. (1: 62)

Обо всем, что видит поэт, он сообщает миру. Об эпидемическом падении нравов столиц поэт посылает SOS в пространство. Никакого отклика. Поэт сам пытается пробудить сознание наркотизированных горожан; он кричит, но слова застревают в горле. Ведь это стало образом жизни, и это следует объяснить, если не найти оправдание. «Неважная честь, / чтоб из этаких роз / мои изваяния высились / по скверам, / где харкает туберкулез, / где блядь с хулиганом / да сифилис». Это строки 1930 г. из предсмертной поэмы «Во весь голос». Была революция, а нравы не менялись. Следуя традициям русского критического реализма, который не обходил стороной пороки жизни, тринадцатый апостол поступал так же. Разве реализм Салтыкова-Щедрина был более снисходительным? Или Достоевского? Или Толстого? Маяковскому позиция этих классиков близка. Маяковский был не только футуристом. Отличие его дарования состояло в том, что пороки общества он не рассматривал со стороны, но буквально принимал их на себя – сам становился вровень с проституткой, в себе самом видел скабрезный анекдот, коверного клоуна, ассенизатора – любого униженного и пораженного в правах, сброшенного на самый низ социальной лестницы или даже лестницы Ламарка.

Иными словами, он не описывал событие, но вживался в него. Он разделял судьбу парии, а не созерцал ее. Когда Маяковский описывает свой «триумф», то выглядит он вообще-то странно: его «проститутки, как святыню, на руках понесут / и покажут богу в свое оправдание». Но разве сам Иисус Христос не предстал перед Господом как адвокат Магдалины? Проститутки столь же обездолены, как и другие «труждающиеся и обремененные». Господь отпустил им их грех, опечаленный их судьбою. Вот почему бог плачет над книжкой Маяковского и как последнюю правду, полученную с Земли, спешит прочитать стихи своим знакомым.

Параграф восьмой
Звериная тоска-то была общая

Читатель наверняка помнит «Холстомера» Льва Толстого. Был свой «Холстомер» и у толстовца Маяковского. Маяковский рассказал о том, как толпа смеялась над упавшей лошадью, и лишь один он наклонился над нею, чтобы утешить, помочь ей встать. Когда поэт увидел, как слезы лошади по морде катятся, прячутся в шерсти, он не выдержал, сам разрыдался. Какая нежность, какая трогательность в сопереживании, взаимной тоске и взаимной боли из-за равнодушия людей, которым лошадь (как и он – поэт) так верно и бескорыстно служит. Он один почувствовал беду заезженной старой клячи. Событие сие пореволюционное, но толпа вела себя точно так же, как и до революции, и точно так же была чужда поэту, его порыву сострадания, как и до Октября. Не содержится ли в этом шедевре мировой лирики зерно противоборства социума с личностью, со свободой выражения ею чувства сострадания и любви к обездоленной божией твари? Тоска-то, звериная тоска, у людей и лошадей – общая!

А. Тышлер. Хорошее отношение к лошадям. Рисунок. 1950-е гг.

Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел и вижу
глаза лошадиные…

Улица опрокинулась,
течет по-своему…

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти…

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
– старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала,
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило. (2: 10, 11)

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ – ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

История жизни, написанная Маяковским, будь то история лошади, человека, а потом парохода, есть единая история жизни – с общей звериной тоской и звездным часом, когда пронизывает ощущение, что стоило жить и работать и стоило умирать. Может, кого-то и «не греет» мысль о таком бессмертии, Маяковского она восхищала.

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».

Это – он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел.
Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел…
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»

А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая, воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
……..
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте. (7:162–164)

Способность Маяковского одушевлять неживые предметы и явления достигла здесь уровня чуда. Черты парохода, названного именем погибшего дипкурьера Нетте, повторяли индивидуальные, только Теодору свойственные привычки и особенности внешнего облика. Поэт создал монументальный, реалистический, действующий портрет дорогого ему человека, совместив долгую «жизнь» парохода и короткую, насильственно прерванную, жизнь человека и воскресив на славное существование друга. Удивление, узнавание, радость встречи превращены магией поэзии в событие, в котором мы, читая, принимаем личное участие и становимся соседями поэта и дипкурьера в купе поезда. Только потому, что Владимир Владимирович и мы, его спутники, сошли на ближайшей станции, белогвардеец смог совершить свое гнусное преступление – застрелить прикорнувшего от усталости на минуту дипкурьера. Была борьба между смертельно раненным дипкурьером и преступником, «битва коридорова». Нетте истекал кровью, но сохранил диппочту. «Будто навек за собой из битвы

коридоровой тянешь след героя, светел и кровав». У нападающего подлеца было преимущество – внезапность нападения. Но сверхчеловеческие усилия Нетте, его героизм, готовность отдать свою жизнь, но уберечь государственную советскую тайну взяли верх. Враг лежал бездыханным в коридоре вагона, а недалеко от него – дождавшийся помощи от своих улыбающийся предсмертной улыбкой победитель Теодор Нетте. Все это «увидел» Маяковский, встретивший на рейде ялтинского порта теплоход «Теодор Нетте». Как лихорадочно работала мысль поэта, как он был взволнован, как возбуждена была его фантазия! Горе, и радость, и гордость за друга, за человека, за коммуниста испытал Маяковский! Он вписал и себя самого в героический портрет Нетте. Да, да, это двойной портрет – поэта и дипкурьера.

Жил-был такой вихрастый, по-вологодски окающий поэт Владимир Солоухин. Что сам он написал, не имеет значения. Прославился же он тем, что «изничтожал» Маяковского за строку из стихотворения о Нетте «чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитием». Это что же получается – негодовал вихрастый – мы, оказывается, живем, чтобы Россия когда-нибудь перестала существовать? И не то чтобы ее кто-нибудь завоевал, а сама собой, как бы в высших целях? И как бы в наших же собственных интересах! Россия, коей нет износу, величайшая Россия, определенная Господом к бессмертию! Да как же может мир существовать без России?! Ну, без Латвии куда ни шло, но без России?!

Позор Маяковскому – русофобу! Солоухин не только никакой поэт, он еще и плохой читатель: речь у Маяковского идет о клятве коммунистической, и исполнение ее предполагается минимум через два тысячелетия. А что касается России современной, то мало найдется среди любящих Россию таких ее апологетов, как Маяковский. Это и в его былине-поэме «150 000 000» русский Иван-бо-гатырь, перешагнув Атлантический океан, побеждает идолище поганое – президента США Томаса Вудро Вильсона. А каков он, русский богатырь: «и рука у него – Нева, а пятки – Каспийские степи»! А в стихах: «За тучей / берегом /лежит / Америка. / Лежала, / лакала / кофе, / какао. / В лицо вам, / толще / свиных причуд, / круглей / ресторанных блюд, / из нищей / нашей / земли / кричу: / «Я / землю / эту /люблю. / Можно / забыть, / где и когда / пузы растил / и зобы, / но землю, / с которой / вдвоем голодал, – / нельзя / никогда / забыть!» Или: «Вот / она, / Россия, / моя любимая страна. / Красная, / только что из революции горнила». Или: «Начинается земля, / как известно, от Кремля». Или: «вашу быстроногую Америку мы и догоним и перегоним». Нужно было быть противником идеала коммунизма, чтобы в словах «без Россий» углядеть русофобию. Нужно было быть воистину Солоухиным, чтобы не расслышать в стихах о Нетте поющее сердце России – тоскующее, ликующее и героическое.

В последние годы жизни Маяковского признаки еще большего бюрократически-чиновничьего перерождения партии множились, мозолили глаза. Нэпачи подмяли под себя нерадивых из рабочего класса. Все более распространялась болезнь «вождизма». Высшие бюрократы попирали средних, средние – малых, малые – малейших. А все вместе – «низы». Партфункционер существо двуликое. Для «масс» – оскаленная морда тигра, на начальство он смотрит лисичкой. Во рту у него два языка. Один произносит клятвы верности вождям – Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину – и коммунизму. Другой – по тому же адресу – клевету. Один поет «Интернационал», другой насвистывает мелодию Хорста Весселя. Ксенофобия, шовинизм и антисемитизм изрыгаются сразу двумя языками.

От русского шовинизма более всего страдали Украина и Кавказ, без которых Советский Союз лишился бы статуса величайшей державы мира, сопоставимой и по размерам, и по внутреннему общественному, государственному и национальному устройству с Российской империей. Украина и Кавказ – отъединись они от России – обнажили бы западные и восточные фланги СССР. Геополитическое положение страны стало бы плачевным. Утрата богатств и людских ресурсов Украины и Кавказа ослабила бы народное хозяйство СССР. Царская Россия стала «волею судеб» прямым наследником империи Чингисхана. Почему

бы Союзу Советских Социалистических Республик не стать наследником Российской империи, или, еще лучше, империи Чингисхана, которая была более прочной, воистину самодержавной, единодушно сплоченной, не допускающей оппозиции и инакомыслия. Внуки более похожи на дедов, чем на отцов. Евразийцы мечтали именно о таком порядке наследования. Советский Союз при Сталине стал фактически империей, в которой, правда, метрополия щедро помогала своим колониям, но все-таки львиную долю богатств республик (колоний) Россия (метрополия) присваивала себе. Население метрополии (особенно крестьянство) жило и материально, и духовно хуже, чем население республик. Посему Советский Союз если и считать империей, то «империей наоборот». Провозглашалось равенство всех республик, но Россия считалась первой среди равных. Единицы из союзных республик рекрутировались в высшее руководство страны (политбюро ЦК КПСС), что создавало иллюзию, будто все республики, а не только Россия (точнее, ее руководство), управляют страной. У русских, самых обездоленных, крепло убеждение, что весь Советский Союз – это большая Россия. В любой республике столичному гостю почет и уважение – он ведь из центра, он все может. Как иронизировал Лермонтов, обращаясь к кавказскому горцу: «Ты будешь раб, но раб царя Вселенной». Славянскую Украину русское руководство третировало как скрытых недругов. На собрании городского актива Украины Н.С. Хрущев (после разоблачения Сталина) рассказал о намерении вождя переселить всех украинцев (как ненадежный народ) куда-нибудь подальше – в Сибирь, как он переселял племена горцев Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, карачаевцев и других). «И я бы непременно сделал это, – говорил Сталин, – если бы украинцев не было так много – 50 миллионов».

Маяковский немного не дожил до этого «триумфа» сталинской национальной политики. Поэт всего два года не дожил до страшного голодомора, какой учинил Сталин на Украине: полные амбары хлеба предназначали на экспорт, не разрешая под страхом смерти взять из собственных запасов хоть крошки ржаного. Хлебные районы оцепили войсками. От голода умерло тогда 10 миллионов украинцев. Не щадили ни малых детей, ни женщин, ни стариков. Маяковский не дожил до новых кавказских войн (отделение Абхазии от Грузии, насильственное, при поддержке Москвы, свержение избранного президента Грузии Гамсахурдия и приход на смену ему Шеварднадзе – одного из «прорабов» горбачевской «перестройки», волнения в Южной Осетии, желающей отделиться от Грузии, война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, две жесточайшие войны против Чечни, бойня в Ингушетии). Всего этого Маяковский не видел, разве что начало «разборки» Сталина с Троцким. Но все, что происходит сегодня на Украине, в Молдавии, Белоруссии и на Кавказе, – лишь следствия тех социальных и национальных «недоразумений», «несогласованностей», конфликтов, которые начались еще в 1922 г. Перерождение наполовину фиктивного социализма в третьесортную державу криминального капитализма предвидел Троцкий. В споре со Сталиным о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране, особенно такой, как Россия, победил, к сожалению, Троцкий. А Маяковский много умнее, чем Троцкий. Поэт был гениальным провидцем, одаренным тончайшей поэтически-историософской интуицией. Во всем, что написал, успел (написать) Маяковский с 1917 г по апрель 1930 г, можно вычитать события сегодняшнего дня.

Часть вторая
Грани гения
(Апостольство – пророчество – проектность)

Параграф первый
И стал он ловцом человеков

По требованию цензуры Маяковский изменил название своей первой поэмы «Тринадцатый апостол». Он стал называть ее «Облако в штанах». Содержание осталось апостольским, пророческим и проектным.

Со дня Распятия прошло две тысячи лет. Двенадцать апостолов и апостол Павел давно уже умерли, но не миновала необходимость жечь глаголом еще не окрепший в вере род людской. По немому призыву Спасителя поэт вызвался стать продолжателем деяний двенадцати и апостола Павла, упреждая воскрешение 12-ти в поэме Блока «Двенадцать» – уркаганов – апостолов. И умышленно вознамерившись осрамить нечистую силу, посмевшую объявить тринадцатого апостола люцифером.

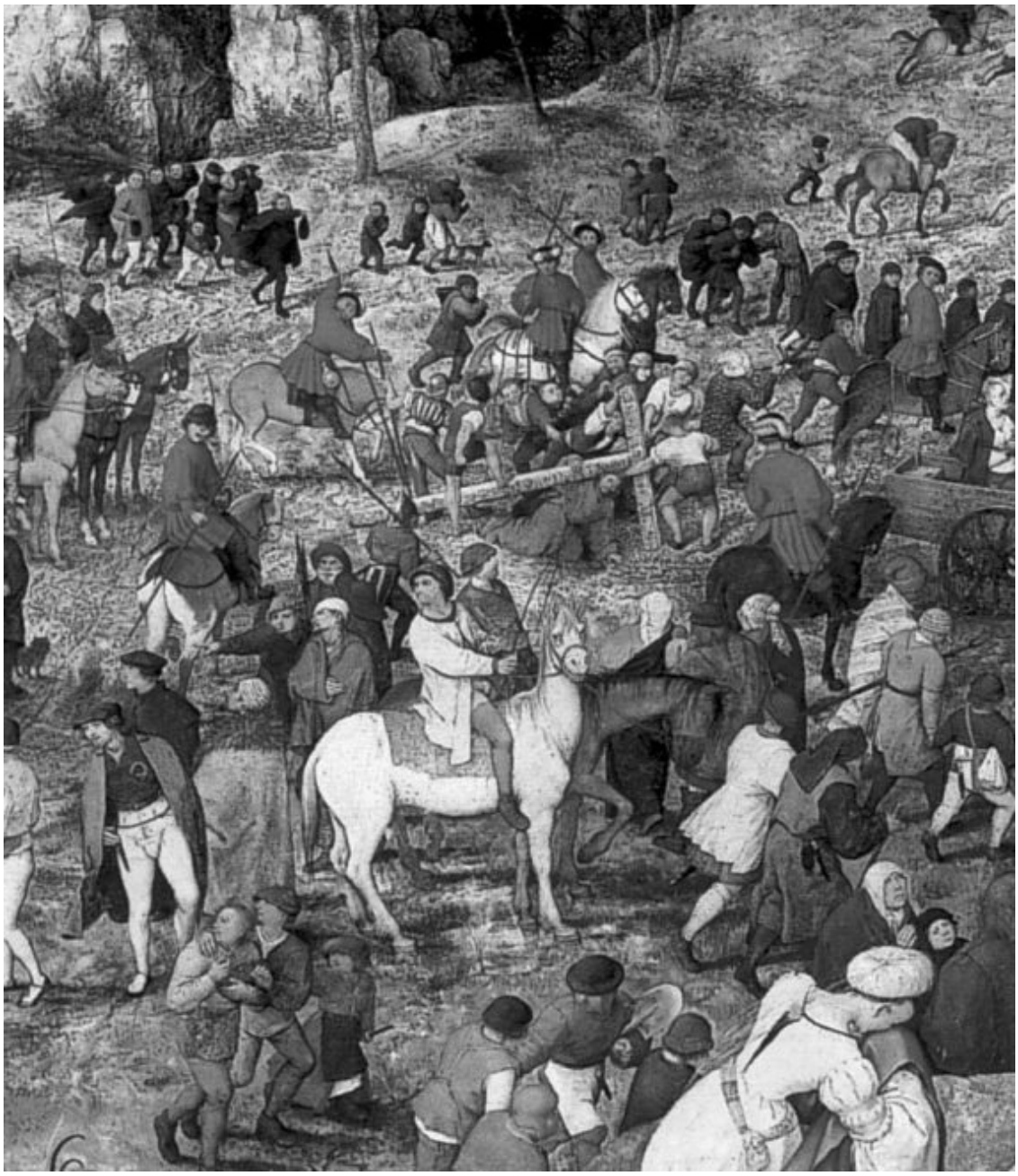
Свободная воля, которую даровал Господь человеку, не абсолютна. Господняя всегда доминирует. Так было всегда: и когда Дева Мария на Благую весть ответила согласием родить дитя от Духа Святого, и когда рыбаки Симон (Петр) и брат его Андрей на призыв Христа пойти за ним добровольно оставили сети и стали первыми апостолами. Маяковский стал «ловцом человеков», *добровольно* пойдя за Спасителем. У первозванных – Петра и Андрея – обращение к ним Господа предшествовало их свободному волеизъявлению, у поэта свободное самоопределение – не осознанному им Божьему велению, которое предваряло инициативу юноши Владимира. Он чувствовал: в России надвигаются перемены, сопоставимые с библейскими катаклизмами, ибо воспринимал Священное Писание как проект и социокультурной эволюции, и истории. Эпицентром очередного витка двойной спирали человеческого существования Господь избрал Россию. Маяковский призван был осуществить свой духовный подвиг и довершить незавершенное своими предшественниками – апостолами, а также внедрить в сознание людей все еще не усвоенные поучения ветхозаветных пророков, ибо апостольская миссия предполагала и пророческую, как о том свидетельствует «Откровение Иоанна Богослова». То, что Христос – сын Божий, означало, что Он и величайший Пророк. Когда некоторые фарисеи пришли предупредить Спасителя, что Ирод собирается убить Его, Он ответил им: «.пойдите, скажите этой лисице: Се, изгоняю бесов и совершаю исцеления.», а впрочем… не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!»[22] Пророк – это тот, кто, умирая, предвидит и созидает будущее – и близкое, и далекое, поскольку выступает соработником Господа. Сам он может и не дожить – как Моисей, умерший незадолго до того, как евреи вошли в Землю обетованную, обещанную им.

Таким же было соотношение между другими пророками и их пророчествами. Пророк – творец и распространитель пророчества, которое рассчитано на то, чтобы пережить самого пророка, став достоянием множества последующих поколений. Пророчества – эманации Божественных парадигмальных проектов. Бог доверяет пророкам, но пророчества превышают своих носителей, и, однажды высказанные, они обладают самостоятельным вечным существованием. Проекты великих поэтов не суть копии проектов политических мудрецов,

[22] Лк 13: 32–34.

царей или вождей. Маяковский освоил все три парадигмальных проекта истории: религиозный, эстетический и научный, и его личный проект уже тем отличался, скажем, от ленинского, что вождь большевиков усвоил только один – Марксов, – да и то исказив его. Скажем, Маркс не отвергал христианства и считал, что коммунист может быть верующим христианином. А Ленин был гонителем христианства и всякой религии вообще. И это, кстати, было причиной неприятия Ильичом поэзии Владимира Владимировича, как в этом вскоре убедится читатель. Маркс опирался на политические прозрения писателей (Гёте, Гейне, Бальзака). А Ленин третировал поэзию как недополитику, присваивая себе право браковать политические суждения поэтов. И, конечно, Маяковского. Поэт прозревал пути Октября точнее и дальше вождя, но Ленин в его глазах оставался единственным гарантом революции. С Маяковским советское общество обошлось так же, как иудейская чернь обошлась с другими апостолами, да и с самим Христом. Синедрион оклеветал Сына Человеческого, а потом распял его. Посылая апостолов в народ, Иисус передал им свой пророческий дар: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь… Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»[23].

[23] Мф 10: 1, 7, 16.



Питер Брейгель Старший. Несение Креста. Фрагмент. 1564 г. Художественно-исторический музей, Вена

Христос по себе знал, что «народная чернь», как волки, растерзает беззащитную группку святых апостолов – овец Христа. А что было делать? Минуют страшные столетия, и не 12 избранных, а, может быть, 12 миллионов христианских овец, 600 000 лет воспитанных на овцеводстве, растерзают клыкастые хищники. Но ведь следует что-то предпринять, чтобы вывести человечество из звериного состояния, обратить его к Господу. Видимо, другого пути, чем тот, которым пошли первые апостолы, не существует. И апостолам, видимо, суждено, проповедуя Слово Божье, погибнуть от закоренелой в невежестве толпы. Что, в сравнении с их жертвами, гибель многих тысяч воинов, которые в шести крестовых походах крестом и мечом насаждали христианскую веру среди неверных, включая уже верующих по-своему альбигойцев?! Деятельность святых апостолов, разошедшихся по всем дорогам Римской империи, была первым и единственным истинно крестовым походом. С крестом,

но без меча. С крестом и со Словом Божьим. И когда надо было, словом же и движением рук, не прикасаясь к больному, они излечивали прокаженных, изгоняли бесов и затем погибали на кресте или под секирою. Таков же был путь и такова была судьба тринадцатого апостола через двадцать веков после Распятия Иисуса. Двадцать столетий тому назад состоялась почти никем из простонародья не замеченная трагедия Голгофы. Мало ли разбойников и прежде распинали на крестах и вешали? Событие знакомое, привычное. Что на этот раз глазеть на него! У каждого горожанина свои повседневные заботы. Кто знал, что на этот раз распинают на кресте вместе с разбойниками вочеловечившегося Господа, что он испивает последнюю чашу горечи человеческой жизни, что он переносит те же муки, какие переносили невинно преданные смерти обыкновенные люди. Вокруг Голгофы собрались члены синедриона, те, кто и приговорили Иисуса к смерти. Они первые кричали: «Распни, распни его!» А израильскому простонародью было не до казни. Лишь те, чьи души задела проповедь Христа, и те, кого он излечил от недугов, и те, кого он поднял живыми с одра смерти, и те, кто видели чудеса, сотворенные Иисусом, и слушали Слова Его Мудрости и Правды, – лишь те были за Него. Но их было немного. Они не смогли остановить злодеяние. К счастью, Христос оставил после себя учеников – апостолов, которые запомнили все поучения Иисуса и все чудеса, им сотворенные. С их слов были написаны Евангелия, отличающиеся одно от другого в мелочах, но согласно и точно передающие вероучение Иисуса Христа.

Одиннадцать из двенадцати апостолов и тот, кто из гонителей христиан – Савла – обратился в самого ревностного святого апостола Павла, распространяли по всей ойкумене учение Сына Божьего, изгоняли бесов, лечили; идея «новой земли и нового неба» овладела помыслами всех апостолов. Они знали, что переход к «новой земле и новым небесам» не произойдет по мановению Господа и что он не может быть плавным, постепенным, без внезапных и резких перемен, которые призваны возглавить они, апостолы – соработники Бога – и с ними все христиане, в том числе и новообращенные. Апостолы знали, что «религия и революция – не причина и следствие, а одно и то же явление в двух категориях: религия – не что иное, как революция в категории Божеского; революция – не что иное, как религия в категории человеческого. Религия и революция – не два, а одно: религия и есть революция, революция и есть религия»[24]. К сожалению, продолжает Мережковский, «никогда и нигде до такой степени, как сейчас в России (написано в 1908 г. – *К.К.)* не была опрокинута, вывернута наизнанку религиозная истина о революции. Все, что можно было сделать, сделано, чтобы доказать, что религия есть реакция и революция есть антирелигия»[25]. Диагноз Мережковского был безупречным. Так это было в России не только в 1908 г., но и на протяжении почти всего XX столетия, за одним исключением – поэт Владимир Маяковский в качестве тринадцатого апостола сочетал в своем сознании, деятельности и поведении религию, революцию и российский смерч. По этой причине, работая на Октябрь как тринадцатый апостол, Маяковский, разочаровавшись в антирелигиозном перевороте, вознамерился возглавить третью революцию – Духа, чтобы окончательно рассчитаться с Первым миром и заложить, наконец, фундамент Второго мира, чему и Второй потоп (так он называл Октябрь) не помог. Двенадцать апостолов (за исключением предателя Иуды) были революционерами, стремящимися словом и благотворительным поведением изменить мировоззрение язычников и иудеев, не признавших Иисуса Христом. Апостол Павел преуспел в христианизации мира более всех других апостолов. Но и более всех других пострадал. Его избивали палками, побивали камнями, многократно заключали в темницу. Он все стерпел. Сам иудей, как и все другие апостолы, он добился распространения веры в единого Бога Израиля как Бога всего человечества. «Без Павла не было бы никакой вселенской церкви, без Павла не было

[24] *Мережковский Д.* Акрополь. М., 1991. С. 206.

[25] Мережковский Д. Акрополь. С. 206–207.

бы никакой Греко-Латинской патристики, без Павла не было бы никакой эллинистической христианской культуры и, наконец, без Павла не было бы никакого Константинова переворота»[26]. Апостол Павел поведал: «.я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией»[27]. И далее: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и *нуждам* бывших при мне послужили руки мои.»[28] И заключил свою прощальную речь в Милите, напомнив о Христе: «.Он Сам сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать”»[29]. Маяковскому родствен был облик и подвиг апостола Павла: его религиозность и его революционность, его жертвенность и всечеловечность, его странничество по городам и весям и его проповеднический дар, его бескорыстие и его безбытность. Вторя Павлу, апостол Владимир желал:

Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав». (7: 74)

[26] *КюнгГ.* Великие христианские мыслители. СПб., 2000. С. 39.

[27] Деян 20: 24.

[28] Деян. 20: 33, 34.

[29] Деян. 20: 35.

Харменс ван Рейн Рембрандт. Апостол Павел. 1629 г. Германский национальный музей, Нюрнберг

Параграф второй
Новая земля и новые небеса

И все-таки вторым после Христа Маяковский почитал не апостола Павла, а ветхозаветного пророка Исаию – превыше всех других пророков Саваофа и всех апостолов Иисуса. Задолго до Иоанна Богослова Исаия предсказал, что грядет «новая земля и новые небеса» для народов, а не только для иудеев, как это предположил автор Апокалипсиса. Иоанн предвещал «новое» как святой город Иерусалим, волею Предвечного сходящий с неба на смену Иерусалима грешного. Иоаннов святой Иерусалим имеет форму правильного четвероугольника. Город обнесен стеной, украшенной двенадцатью драгоценными камнями по числу колен Израиля. И ворот городских тоже, соответственно, двенадцать; на воротах начертаны имена двенадцати колен «избранного народа». Улица города – одна-единственная – чистое золото. «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой…»[30]. Всего в святом Иерусалиме 144 тысячи жителей, по 12 тысяч от каждого из 12 колен. Иначе говоря, «новая земля и новые небеса», согласно пророчеству Иоанна Богослова, это сравнительно небольшой город, пред-

[30] Ап 22: 2.

назначенный только для иудеев, да и то не для всех. А как же другие иудеи и нееврейские неисчислимые племена? Не о них ли слова Иоанна: «А вне (святого Иерусалима. – *К.К.)* – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду»[31]. Это прямая ложь и клевета.

Микеланджело Буонарроти. Пророк Исаия. 1511 г. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы, Ватикан

Исаия за тысячи лет до Иоанна предвозвестил «новую землю и новые небеса» не для одного еврейского племени, а для всех народов земли. «.Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце… Волк и ягненок будут

[31] Ап 22: 15.

пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею…»[32]. «… заколающий вола – то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса»[33]. «…дом Мой назовется домом молитвы для всех народов»[34]. Господь обличит многие племена: «.и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»[35]. «…сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже золота офирского»[36]. Иоанн Богослов обособляет иудеев от всех других народов, а пророк Исаия объединяет со всеми. Иоанн ничего не говорит о прекращении войн между народами, и нетрудно предположить, что «нечестивые» племена ворвутся однажды во все двенадцать ворот святого Иерусалима, сокрушат город и истребят его жителей. Исаия же предрекает уничтожение орудий убийства и вечный мир между людьми и даже – непредставимо – между животными разных видов, одни из которых сотворены Господом как пища для других. У Иоанна городская улица золотая, а люди вне стен города медной монеты дешевле, а у Исаии все люди будут дороже чистого золота. У Иоанна «новая земля и новые небеса» снисходят в виде святого Иерусалима с небес. Исаия предвещает возникновение «новой земли и новых небес» на земле и не в одном городе, а повсюду. Исаия – истинный пророк, ибо предсказывает далекое будущее как нечто совершенно новое, как полное и коренное преодоление настоящего, как выход рода людского в иной, безнасильственный миропорядок. Исаия предвосхищает первый парадигмальный проект истории Иисуса Христа и, может быть, даже в чем-то превосходит его. Этот пророк Саваофа повлиял на Маяковского не менее, чем Искупитель. Автор «Мистерии-буфф» также предвещал рай на земле, а не на небесах, и для живых людей, а не для душ умерших праведников, – для всех народов, а не только для еврейского:

Здесь,
на земле хотим,
не выше жить
и не ниже
всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.
Нам надоели небесные сласти —
хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
дайте жить с живой женой! (2: 170)

При этом Маяковский вовсе не отвергал возможности воскрешения волею Господа целых народов (это было дано увидеть воочью пророку Иезекиилю). Да не это ли самое связывал Спаситель со своим вторым пришествием?!

Подобно тому как Исаия *добровольно* согласился стать пророком Саваофа, так и Маяковский *по доброй воле* стал тринадцатым апостолом Его Сына, именно тринадцатым, чтобы выйти за пределы *двенадцати* колен сынов Израилевых, обусловивших число апостолов Иисуса. Все прежние апостолы были иудеи, тринадцатый – первый не иудей, тринадцатый – славянин с грузинским подмесом.

---

[32] Ис 65: 17, 25.

[33] Ис 66: 3.

[34] Ис 56: 7.

[35] Ис 2: 4.

[36] Ис 13: 12.Микеланджело Буонарроти. Пророк Исаия. 1511 г. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы, Ватикан

Параграф третий
Губить и созидать

Маяковский также близко принимал к сердцу наставления Господа пророку Иеремию: «.Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать»[37].

Микеланджело Буонарроти. Пророк Иеремия. 1508 г. Фрагмент росписи плафона Сикстинской капеллы, Ватикан

К каждому из нас обращены слова Господа: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя.»[38] Все мы призваны Мировым Духом – каждый для разного. Маяковский был призван стать тринадцатым апостолом в XX в., подобным святому апостолу Павлу и подобным пророку Иеремии. Сколько

[37] Иер 1: 10.
[38] Иер 1: 5.

общего у Маяковского с Иеремией (как, впрочем, и с другими пророками)! Поэт сетовал: «Нет людей. душа не хочет немая идти, / а сказать кому?» Не на то ли жалуется и Иеремия?

«Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины?»[39] Иеремия такого не нашел. За отступничество от Господа, за ложь Иеремия мстит своему народу. «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей»[40].

Зато, когда иудеи, вразумленные Иеремией, вернулись из вавилонского плена, пророк, созидающий будущее, запел другие песни: «Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их»[41].

О том же пророчит Маяковский, вторя Иеремии:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет. (8: 313)

Параграф четвертый
Пророчество – пульс русской литературы

Пророчество присуще не только поэзии Маяковского – оно вообще свойственно великим созданиям русской литературы. Пушкин переложил в стихи рассказ Исаии о том, как коснулся серафим горящим углем уст пророка:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

«Пророк», 1826

Александр Сергеевич относил рассказ Исаии о становлении пророка, конечно, и к самому себе. Он сам определил, в чем состояло его пророчество и какое оно возымело воздействие на людей:

И долго буду тем любезен я народу,

[39] Иер 5: 1.
[40] Иер 9: 11.
[41] Иер 31: 13.

Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

«Памятник», 1837

Величайший поэт России был певцом свободы и империи (как определил Г. Федотов), но империи не николаевской, а идеализированной империи Петра Великого, империи как равноправного объединения самых разных народов, не порабощающей колонии, а приобщающей их к цивилизованной метрополии. Пушкин идеализировал Петра и его империю, а сам осуждал крепостное право, самовластье. В империи Петра он видел, преувеличивая, воплощенным тот принцип государственного содружества разных племен и рас, какой, как я думаю, близок к идее «Монархии» Данте. Возлюбленный сын гармонии не ведал того чувства трагизма существования человека, того неприятия преднайденного мироустройства и того стремления к «новой земле и новым небесам» (по Исаие), без которых нет пророка во всей полноте его свойств. То, чего не было у светозарного Пушкина, было у его прямого наследника. Лермонтов показал, что происходит с посланцем Господа, когда он пророчествует:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

«Пророк», 1841

Лермонтовский пророк бежал от преследований толпы в пустыню и там, как птицы, питался даром Божьей пищи. В городе пророка разве что не убили, но презирали все – и старцы, и дети. Михаил Юрьевич и сам был таким же гонимым пророком:

К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь,
Чтоб бранью назвали коварной
мою пророческую речь?

«Журналист, читатель и писатель», 1840

Чтобы апостолу и пророку в России не пострадать от властей и непросвещенного населения, надобно было достичь материальной и духовной независимости, да еще и всемирной славы, как автору собственного Евангелия Льву Толстому. Реформатора отлучили от церкви, установили за ним полицейский надзор, но это нисколько не мешало неугомонному проповеднику еще беспощадней обличать тиранство царского режима, вредоносность барско-помещичьей, буржуазной и рептильно-интеллигентской культуры и призывать к установлению всероссийского крестьянского «мира». Лермонтов не был так защищен. Потомок шотландского горца был сослан царем на Кавказ, на передовую линию войны против кавказских горцев. Государь надеялся, что там «клеветника» убьют.

Лермонтов уцелел в кровавых схватках – ружейных и рукопашных – с любимыми им кавказцами, но все-таки был застрелен на дуэли на горе Машук однополчанином Мартыновым в 1841 г. Услышав о гибели Лермонтова, самодержец произнес: «Собаке – собачья смерть». А на повеление царя в 1837 г выслать бунтующего юнца на Кавказ Лермонтов ответил непревзойденно дерзким прощанием с Отечеством, коим правил император:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза
От их всеслышащих ушей.

«Прощай, немытая Россия…», 1837

Пессимизм Лермонтова беспросветен. И это не следствие романтизма, как полагают лермонтоведы, а знак высочайшего философско-космического мировоззрения:

Мы сгибнем, наш сотрется след
…….
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.

«Отрывок», 1830

Не другому или другим поколениям людей, заметьте! И это – единственное у демонического поэта видение *чистейшего* будущего, которое создадут *чистейшие* существа:

Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. Станут течь их дни,
Невинные как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..

«Отрывок», 1830

Это чистейшее будущее Лермонтов назвал «Раем земли», как позже в «Бане» назвал и описал его Маяковский: «Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, – радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода Отдавать, гордость Человечностью» (11: 345). А помимо Лермонтова и Маяковского, следует вспомнить и Рабле, который обнаружил подобие Рая в подземелье пророчицы Бакбюк. У Лермонтова видение «Рая земли» было необъяснимым единичным отклонением от его всепоглощающих мрачных предчувствий, тогда как Маяковский приносил в жертву этому фантому и настоящее, и прошлое. Он воспринял и первую, и вторую половину наставлений Иеремии. Маяковский разрушал и созидал, он верил в коммунистическое будущее по Христу и по Марксу.

Апостол Павел считал апостольство и пророчество двумя различными дарами Духа[42], а сам явил собой пример единства этих даров. Так и Маяковский. Он был и апостолом, и пророком. Новатор, отвергающий прошлое, «сбрасывающий Пушкина с парохода современности», был, неведомо для себя, и традиционалистом – не мог оторваться от русской проект-

[42] См.: 1 Кор.13.

ной, чреватой историей социокультуры, не мог не равняться на Пушкина, на Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Некрасова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, на Льва Толстого. «Правнуком своим проживши, / Кончил – прадедом своим», – писала Марина Цветаева. Ю. Тынянов отметил глубочайшую соприродность Маяковского духу древних культур: Хлебников сродни Ломоносову, Маяковский сродни Державину[43]. Усвоив все три парадигмальных проекта всемирной истории, он воспарил над двуликой российской социокультурой, не отрываясь от своей социокультурной почвы. Пророческую энергию гениев русской литературы он аккумулировал в себе, доведя ее до такого накала, который превратил поэзию в *искусство жизнестроения.*

Прежде чем двинуться дальше, вернусь еще раз к предтече Маяковского. Стихи Лермонтова о поэте-пророке автор «Облака» воспринимал как обращенные непосредственно к нему.

Параграф пятый
Лермонтов – Маяковскому
(Это, разумеется, предположение)

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы,
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Но скучен нам простой и гордый твой язык,
Нас тешат блестки и обманы;
Как ветхая краса, наш ветхий мир привык
Морщины прятать под румяны.

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

«Поэт», 1838

В Маяковском пророк проснулся и пророчил – пока его не убили. С высот Библии оценивал он Октябрьскую революцию – все возвышенное и низменное в ней, ее героические подвиги и злодейские ее преступления. Он помнил Исаию: «Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже золота

[43] См.: *Вайскопф М.* Во весь логос: Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. С. 11.

офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его»[44].

Маяковский взял на себя исполнение Божьих повелений, ибо он удостоверился, что «злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски»[45]. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию»[46]. Читатель! Запомни это повеление Господа и не спеши обвинять Маяковского в пристрастии к насилию. В «Исповеди» своей Толстой кается: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершил»[47].

Христос, учивший не противиться злу насилием, призывающий быть, как дети, пригрозил: «…кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской»[48]. Это, пожалуй, пострашнее призыва Маяковского к балтийским морякам предоставить слово «товарищу Маузеру».

Лев Толстой повинился в грехах своей молодости и призывал к нравственному самоусовершенствованию, считая главным в учении Христа завет непротивления злу насилием. И сам преуспел на этом пути более чем его последователи. Писателя смущали революционные пророчества до тех пор, пока царское правительство, поддерживая реформы Столыпина, не стало тысячами вешать несогласных с реформатором: виселицы назвали «столыпинскими галстуками». На преступления правительства совестливейший писатель призывал ответить бомбой. Тогда же Толстой определил главные признаки пророчества: во-первых, то, что слова пророка совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они рождаются; во-вторых, то, что люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашаются с ними, и, в-третьих, главное то, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает.

Не за футуристическую заумь, а за проповедь величия свободного человека, обездоленного, изнуренного, униженного сораспялся с Христом поэт Маяковский. И за то еще, что к учению Спасителя он присовокупил и совместил с ним не только учение Маркса, – что было неприемлемо для извратившего учение Маркса воинствующего безбожника и маниакального властолюбца Ленина и его соратников, – но и эстетические проекты истории Данте, Рабле, Сервантеса, Шекспира, необходимые для того, чтобы свершилось обожение человека в полноте Господнего замысла. Маяковский стал пророком и чернорабочим Октябрьской революции и пророком еще другой – духовной революции, какой Октябрьская не стала, не могла стать, но которая неизбежно грядет:

> …встает из времен
> революция другая —
> третья революция
> духа. (4: 103)

Социокультура России – устойчиво неопределенная, самоопровергающаяся, в отличие от определенности социокультуры Запада и социокультуры Востока. В стремлении обре-

---

[44] Ис 13: 11–13.

[45] Ис 24:16.

[46] Быт 9: 6.

[47] *ТолстойЛ.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 16. С. 98.

[48] Мф 18: 6.

сти определенность Россия колеблется между порывами стать либо социокультурой Запада, либо социокультурой Востока. Эти порывы так порывами и пребудут. Апостольство осуществляется лишь в пределах своей социокультуры. Маяковский колебался между Западом и Востоком, не становясь при этом ни западником, ни евразийцем. Как интернационалист он твердо знал, что у России есть только одна возможность преодолеть неопределенность своей социокультуры – подняться над ней и вообще над всемирной социокультурной эволюцией в сферу истории. Поэтому Россия и стала материнским лоном пророческого искусства и пророческой философии. Пророческая поэзия Маяковского служила преодолению неопределенности и косности антиномичной социокультуры – путем превращения России в первую страну реализации Божественного замысла всемирной истории – обожения человека. В этом пафос деятельности тринадцатого апостола, пафос его поэзии и жизни. Он погиб с верой в то, что его предвидения непременно сбудутся – через каких-нибудь две-три тысячи лет.

Часть третья
Духовный багаж Маяковского

Параграф первый
Священное Писание

Священное писание было наидрагоценнейшим достоянием поэзии Маяковского. Он мог писать о чем угодно, но неизменно соотнося написанное с Духом Божьим. Достойно удивления его знание Ветхого и Нового Заветов. Ссылаются на гимназию, где преподавался Закон Божий, а его вышибли из 5-го класса. Были еще косноязычные проповеди батюшки в церкви – поэт им не внимал. Он постигал Евангелия сам. Маяковский с детства читал и перечитывал заповеди Моисея, пророчества всех других пророков Саваофа, Нагорную проповедь Иисуса Христа и деяния апостолов. Обладая феноменальной памятью, он запоминал многое наизусть и потом постоянно прокручивал усвоенное в своем сознании. Маяковский никогда не противопоставлял Новый Завет Ветхому Завету, затвердивши наизусть слова Христа: «Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или Пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все»[49]. И в разъяснение сказанного Христос добавил: «Все передано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»[50]. Законник, искушая Бога, спросил: «“Какая наибольшая заповедь в Законе?” Иисус сказал ему: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим”: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверждается весь Закон и пророки»[51].

[49] Мф 5: 17, 18.
[50] Мф 11: 27–30.
[51] Мф 22: 36–40.

Томмазо Мазаччо. Чудо со статиром. Фрагмент. 1427 г. Фреска в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине, Флоренция

Параграф второй
Учение Маркса

Прежде знакомства с великими творениями христианского вероучения юноша Владимир приобщился к марксистской литературе, всем другим книгам предпочитая книги Карла Маркса, которые считал последним словом постхристианства. Оставаясь верным идеалам Христа и Маркса, поэт и художник вышел из партии большевиков, «чтобы делать социалистическое искусство», чтобы писать «по мандату сердца и ума», а не по решению партийных бонз. Оказавшись в потоке христианской поэзии Серебряного века, Маяковский не мог не обратиться к наследию величайших христианских свободомыслов – Данте, Микеланджело, Рабле, – не изменяя при этом коммунистическому идеалу Маркса, а, напротив, с их помощью принимая идеал основоположника в его чистоте, а не в партийной замаранности ленинской идеологией. Маяковский не был начетчиком, но «Манифест Коммунистической партии» он принял как выражение собственных взглядов. Цитировал наизусть. Поэт зачитывался также «Предисловием» Маркса к брошюре «К критике политической экономии. Введение» и признавался, что «Нет произведения искусства, которым бы я увлекался более, чем “Предисловием” Маркса» (1: 15).

Старшая сестра Маяковского Людмила по просьбе брата прислала ему в тюрьму первый том «Капитала», который Владимир прорабатывал с карандашом в руке. Сочинения Маркса и Энгельса, раскрывающие отношение основоположников научного коммунизма к Христу, к первым христианским общинам, добившимся независимости от язычества и иудаизма, привлекали к себе неизменное внимание. В сочинении об Иисусе Христе 20-летний Маркс исповедовался: «История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит, как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей; сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества, – а кто осмелится отрицать подобные поучения?»[52] За год до смерти Маркса Энгельс подытожил сорокалетнее выяснение отношений научного коммунизма к христианству: «Христианство не знало никаких вносящих разделение обрядов, не знало даже жертвоприношений и процессий классической древности. Отрицая, таким образом, все национальные религии и общую им всем обрядность, и обращаясь ко всем народам без различия, христианство само становится первой возможной мировой религией»[53]. «Разве не христианство первое отделило церковь от государства? Прочтите “О граде Божьем” Блаженного Августина, изучите отцов церкви и дух христианства, а потом придите снова и скажите: что такое “христианское государство” – церковь или государство? Папа римский с глубоким пониманием и строгой последовательностью отказался вступить в этот Священный союз, ибо, по его мнению, всеобщей христианской связью народов является церковь, а не демократия, не светский союз государств»[54]. В исследовании «К истории первоначального христианства» (1894) мало кто мог ожидать, что один из родоначальников научного коммунизма Энгельс отметит принципиальные совпадения между первыми христианскими общинами первого века и коммунистическими союзами второй половины XIX в. и – шире – между христианским движением римских пролетариев и рабов и коммунистическим движением современных наемных рабочих.

«В истории первоначального христианства имеются достойные внимания точки соприкосновения с современным рабочим движением. Как и последнее, христианство возникло как движение угнетенных: оно выступило сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. И христианство, и рабочий социализм проповедуют грядущее избавление от рабства и нищеты, христианство ищет этого избавления в посмертной потусторонней жизни на небе, социализм же в этом мире, в переустройстве общества. И христианство, и рабочий социализм подвергались преследованиям и гонениям, их последователей травили, к ним применяли исключительные законы: к одним как к врагам рода человеческого, к другим – как к врагам государства, религии, семьи, собственности и порядка. И вопреки всем преследованиям, а часто благодаря им, и христианство, и социализм победоносно, неудержимо прокладывали себе путь вперед»[55]. Как же мог Маяковский, прошедший первоначальную школу учения Маркса и Энгельса и знающий, что они усматривали сходство рабочего социализма с первоначальным христианством, еще не профанированным идеологической церковью, не объединить в своем сознании учение Маркса и учение Христа и не выступить в роли тринадцатого апостола, возрождающего тип поведения апостолов первохристианства и прозелита первомарксизма?!

Для того чтобы оценить советское общество, которое устами его вождей определялось то как еще не вполне социалистическое, то как полностью социалистическое, то как общество развитого социализма, то переходящее в коммунизм, а некоторые выдающиеся социо-

---

[52] *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М., 1956. С. 5.

[53] *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. М., 1962. Т. 19. С. 313.

[54] *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. Т 1. С. 108, 109.

[55] Там же. С. 467.

логи (А.А. Зиновьев) считали советское общество чуть ли не изначально коммунистическим, Маяковский пользовался Марксовым различением видов или форм коммунизма (иногда выступавших как его последовательные стадии). Первой формой коммунизма Маркс считал лишь обобщение и завершение отношений частной собственности. Этот коммунизм отрицает повсюду *личность* человека. Маркс называл его грубым, отвергающим весь мир культуры и цивилизации. Грубый коммунизм есть, собственно, только форма проявления гнусности частной собственности. Далее Маркс рассматривает коммунизм еще политического характера – демократический или деспотический. Очередным видом коммунизма Маркс считает коммунизм казарменный. Принцип этого вида коммунизма Маркс вывел, анализируя взгляды М. Бакунина. «При полнейшей публичности, гласности, – писал Бакунин, – в деятельности каждого пропадает бесследно, исчезает всякое человеколюбие, как его теперь понимают, тогда стремлением каждого будет производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше: в этом сознании своей пользы для общества будет заключаться вся гордость, все честолюбие тогдашних деятелей». Маркс комментирует: «Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть: общие столовые и общие спальни, оценщики конторы, регламентирующие воспитание, производство, потребление, словом всю общественную деятельность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безымянный и никому не известный “наш комитет”[56]». А каков же коммунизм как положительное упразднение частной собственности, каков, иначе говоря, был Марксов коммунизм? «Такой коммунизм как завершенный натурализм = гуманизму, а как завершенный гуманизм = натурализму; он есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»[57].

Маяковскому потребовалось 5 лет, чтобы понять, какова реальность советского общества, которое многие и он сам до того времени считали идущим к Марксову социализму. К 1928 г. тринадцатый апостол понял, что советское общество на деле есть *симбиоз грубого, деспотического и казарменного* коммунизма, ничего общего не имеющего с коммунизмом ни Маркса, ни Христа. А он, тринадцатый апостол, был призван быть проводником коммунизма автора «Манифеста» и автора Нагорной проповеди, и потому после продолжительных сомнений и колебаний он заклеймил и отверг советский общественный строй, выдававший себя то за социализм, то за коммунизм в их Марксовом понимании.

Параграф третий
Православный ренессанс и учение Маркса

Наряду с учением Иисуса Христа и учением Маркса Маяковский осваивал творчество гениев Ренессанса, тех, что совершили виток эстетической спирали истории к ее началу, к Библии, восстановив (а для кого-то и открыв) красоту Священного Писания. С отрочества любимым героем Владимира был Дон Кихот. Я бы считал справедливым назвать Рыцаря Печального Образа одним из апостолов Иисуса Христа. Маяковский и сам, повзрослев, стал Дон Кихотом революции. Возвращаясь к учению Спасителя, гении Ренессанса внесли «свое» в Священное Писание, не входя в противоречие с Библией, но разъясняя ее, подобно тому, как Иисус, не отменяя Моисеева Закона, выявил в нем то, что оставалось непроясненным в заповедях – Христову Благодать. Поэт знал, что Маркс и Энгельс освоили духовное и художественное богатство и Библии, и Ренессанса, но поэт решил самостоятельно постичь

[56] *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. Т. 18. С. 414.

[57] *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. С. 588.

загадки Заветов и Возрождения. Нарушая хронологию и самооценку Льва Толстого, он причислял и его к Возрождению.

Параграф четвертый
Богоподобный Лев Толстой

Гуманистическому сочетанию эпоса, сатиры, лирики, драмы, антиклерикальности, всемирной отзывчивости, ненависти к войне, владению русским словом Маяковский учился у критика Ренессанса и, тем не менее, у самого возрожденческого писателя России – Льва Толстого, писателя-пророка. Кряжистого великана Маяковский противопоставлял жалкому идеологическому боженьке официальной церкви. Граф Толстой был ходатай перед правительством, перед церковью, перед царем за обездоленное, обезземеленное, бесправное русское крестьянство, чьими трудами, хлебом, кровью жили богатые, достаточные, образованные классы, не испытывая по отношению к мужикам благодарности, не стыдясь своего тунеядства. В России к концу XIX в. набирал обороты маховик дикого капитализма, опирающегося на покровительство царского правительства. Крестьянство от деревенской кабалы бежало в города, на фабрики и попадало в фабричную кабалу, еще более жестокую, чем помещичья. То, что пиндары капиталистических фабрик называли свободным наемным трудом, Лев Толстой – новым рабством. В обширном исследовании «Рабство нашего времени» великий писатель и социолог, совместив свое моралистическое осуждение богатства с сочувствием рабочим, противопоставлял церковному боженьке церкви реального Господа.

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера – снега седей —
туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.
А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой. (1: 63)

Маяковский был единственным литератором, кто после Толстого был и магическим кристаллом русской революции. Непротивленец злу насилием сказал Х.Н. Абрикосову: «Есть два способа борьбы с правительством: мирный – словом и террористический – бомба. Первый способ использован был полностью и – никакого результата; остается только второй способ – бомба»[58].

Толстовский этап начался с отмены крепостного права и завершился кануном Первой мировой войны. Маяковский принял от Толстого его антивоенную и антиклерикальную эстафету и отразил кануны, свершение, перерождение и харакири Октябрьской революции.

Параграф пятый
Новейшее Евангелие Франсуа Рабле

Как у сатирика и комедиографа у Маяковского был предшественник и учитель, его земляк – Гоголь. «Баня» – это «Ревизор» авгиевых конюшен сталинизма. Был у автора «Бани» еще один учитель, но не только сатиры, но историософии и философии. У Маяковского не

[58] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 151

было почти ни одного сатирического стихотворения или сатирической пьесы, из которых нам не подмигивало бы лукавое лицо Алькофрибаса Назье:

«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
Остальное там». (4: 8)

«Прозаседавшиеся» – единственное творение поэта, которое похвалил Ленин, да и то как административную злободневную публицистику – поэтических достоинств вождь не усмотрел. А раблезианские аллегории, шарады, загадки, обличения («Наполеона на цепочке поведу, как мопса», «солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз») – это ведь от Рабле. Модельеры в 1927 г. затеяли спор, что больше подходит советскому гражданину: фрак или толстовка и брюки «дудочкой». По-раблезиански Маяковский вмешался в эту дурацкую склоку:

Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А если всерьез:
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву
под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта. (8: 9-11)

У Рабле Маяковский заимствовал поэтический троп героической гиперболы. Подобен доброму великану Пантагрюэлю и сам русский поэт:

Выше Эйфелей,
выше гор
– кепка, старое небо дырь! —
стою,
будущих былин Святогор
богатырь. (4: 121)

Подобен Пантагрюэлю и герой поэмы «150 000 000» – наивеликанейший великан – русский богатырь Иван. Воображение, феноменальная память воссоздали в фантазии Маяковского эпопею Рабле, которую сам мэтр Франсуа называл «новейшим Евангелием». Маяковского выручала жизнь, которая в России была не менее раблезианской, чем во Франции времен Рабле.

Параграф шестой
Неистовый Микеланджело

Маяковский не был в Италии. Он видел только копии скульптур и репродукции росписей Сикстинской капеллы и рисунков. Слышал много рассказов знатоков о жизни Микеланджело. Маяковский сам был живописец и график. Он хорошо знал русскую (включая иконы) живопись вплоть до современников – Татлина, Малевича, Кандинского, Филонова, Петрова-Водкина, Дейнеки. Он был в Париже в мастерских Пикассо, Леже, Ларионова и Гончаровой. Знал пластику Родена, Бурделя и Майоля и предвосхищающую Микеланджело реалистическую, мифологическую, гротескную скульптуру готических храмов Германии и Франции. Не раз приходил в Лувр на «свидание» с Венерой Милосской. Ему нетрудно было представить превосходящее все, что он видел, скульптурно-живописно-архитектурное величественное и прекрасное воплощение Священного Писания в Сикстинской капелле. Маяковский не видел, но знал, что флорентиец не ведал другой радости, кроме творчества и радости совершенного исполнения им задуманного; Маяковский сопереживал страданиям ваятеля и его героев. Флорентиец пламенел ненавистью к рабству и помогал своим героям собственными усилиями освободить себя.

Маяковского, как Микеланджело, тревожила мысль об ускользающей женской любви. Вдохновительницей Буонаротти в его преклонные годы стала добрейшая синьора, понимавшая, как никто, величие Микеланджело. Ее звали Виттория Колонна. Живописец воображал ее рядом с собой, стоя одиноко на лесах перед росписью Страшного Суда. Чтобы расквитаться с прилипалами к Микеланджело, Маяковский изображает мазилу, угодника власти, посмевшего сравнить свою шиловщину с рисунком гения. В пьесе «Баня» художник Бельведонский (прототип – Бродский?) рисует портрет начальника Победоносикова.

> Б е л ь в е д о н с к и й. <…> Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо – хоть лизни. Только у Микель Анжело встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжело?
> П о б е д о н о с и к о в. Анжелов, армянин?
> Б е л ь в е д о н с к и й. Итальянец.
> П о б е д о н о с и к о в. Фашист?
> Б е л ь в е д о н с к и й. Что вы!
> П о б е д о н о с и к о в. Не знаю.
> Б е л ь в е д о н с к и й. Не знаете?
> П о б е д о н о с и ко в. А он меня знает?
> Б е л ь в е д о н с к и й. Не знаю… Он тоже художник.
> П о б е д о н о с и к о в. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, а глав-начпупс – один.

У Микеланджело поэт учился не только скульптуре и живописи, но (что важнее) искусству *собожественного досотворения* человека по образу и подобию Бога.

Параграф седьмой
Данте, Данте и еще раз Данте

Когда Маяковский испытывал муки слова, он сожалел: «О, если б был я косноязычен, как Данте или Петрарка».

Картину дантовского ада Маяковский вспомнил, когда писал стихотворение «Адище города» и еще раз, описывая Первую империалистическую войну: «Дантова ада кошмаром намаранней».

Но в отношении Маяковского к Данте не так важны редкие упоминания имени автора «Божественной комедии», сколько то, что он, русский, как и итальянец, стал главным героем своей эпической поэзии. Такого сочетания лирики и эпоса, какое было органикой поэзии Маяковского, русская муза до него не знала. И в Европе такое сочетание личности поэта как главного героя всех его произведений и такой мироохватности, такого стремления к единству всего человечества на христианских заповедях свободы и справедливости, такую всепоглощающую любовь к женщине и к женственности, такую политическую ангажированность можно встретить только у Данте. Итальянец Эджидио Гуидубальди издал книгу «От Маяковского к Дантовскому Интернационалу» (может быть, вернее было бы ее назвать «От Данте к Маяковскому Интернационалу»?). Она переведена на русский и напечатана параллельно на итальянском и на русском[59].

О родстве Маяковского и Данте я услышал впервые от садовника Тимирязевской сельскохозяйственной академии Ивана Ивановича Казьмина в 1937 г. Я был тогда учеником 8 класса средней школы № 213, расположенной на Лиственничной аллее, недалеко от ТСХА. Я уже тогда «болел» Маяковским. Казьмин жил холостяком в маленькой комнате капитального (еще XVIII в.) каменного строения молочной фермы (говорят – в здании том останавливался Наполеон). Иван Иванович был невысокого роста, щуплый, с седым ежиком волос. Ему в то время было лет 50. Единственной его страстью были книги. Сколько бы он ни зарабатывал (иногда ничтожно мало), половину денег он тратил на книги, из арбузных корок варил варенье. Комната его напоминала не библиотеку, а книжный склад. Книги высились стопками от пола до потолка. Хозяин лавировал между этими деревьями из книг. У стены стоял застекленный книжный шкаф специально для сочинений Маяковского. А под стеклом створок шкафа две большие фотографии: под левой – Данте, под правой – Маяковского. Поэты смотрели друг на друга. Мне-то Иван Иванович и поведал о своем «открытии» – родстве Маяковского и Данте, обращая внимание на сходство их поэзии и жизни. Это сопоставление двух поэтов крепко запало мне в душу, и я не успокоился до тех пор, пока после войны дважды не перечитал «Божественную комедию» в переводе Лозинского и не убедился, что Иван Иванович был прав. И, представьте, как меня поразила и обрадовала книга Гуидубальди! Удивился, как это итальянец сам, без Ивана Ивановича, додумался. Все равно, считал я, наш был первым и копал глубже. Впрочем, в промежутке времени между беседами с Иваном Ивановичем и Гуидубальди я прочитал ответ Энгельса на вопрос итальянского журналиста о «Божественной комедии». Соратник Маркса говорил, что Данте запечатлел переход от феодализма к капитализму и час рождения новой, буржуазной эпохи. Родит ли Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения новой пролетарской эры? – сам у себя допытывался Энгельс. Оглядывая Европу от горизонта до горизонта, он ни в одной стране не обнаружил в поэтах дантовских дарований. Только в историософской мысли XIX в. он указал на такого же, как Данте, провидца. Им, разумеется, был для него Карл Маркс. Данте писал об обществе, где один господствует, другой подчиняется. Маркс думал о всемирном объеди-

[59] М., 1993.

нении человечества, но не в виде мировой монархии, как Данте, а в виде ассоциации множества ассоциаций, в которых свободное развитие индивида станет условием свободного развития всех. Об отсталой, дремотной России соавтор «Коммунистического манифеста» даже и не помышлял. Получилось, однако, так, что в конце XIX – начале XX столетия социокультурная эволюция и история, оставаясь особыми и взаимоисключающими процессами, сомкнулись и в своих эстетических сегментах переплелись. Пришло время заметить, что социокультурная эволюция тоже имеет *свои* революции. Буржуазно-демократическая революция как раз и есть такой взрывной, спонтанный, хаотичный период социокультурной эволюции, которая иногда (как в России) заканчивается либо переходом к истории, либо чаще победой над историей, как это произошло во всем мире (а теперь и в России). Сближение в эстетических фрагментах (по крайней мере) социокультурной эволюции и истории – явление экстраординарное. Маяковский отметил час рождения пролетарской эры, но часы этой эры скоро остановились. Все, что происходило «на верхах» и «на низах», говорило Маяковскому (и с каждым годом откровеннее и наглее), что российская социокультура одолевает историю. Не желая мириться с поражением истории, поэт выдвинул в своих стихах и поэмах проект новой, послеоктябрьской, духовной революции, и в этом своем стремлении снова сомкнулся с Данте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.